



Виктор Пелевин

Чапаев и Пустота

ФТМ



Виктор Пелевин

Чапаев и Пустота

«ФТМ»

1996

Пелевин В. О.

Чапаев и Пустота / В. О. Пелевин — «ФТМ», 1996

ISBN 978-5-457-07250-3

Роман «Чапаев и Пустота» сам автор характеризует так «Это первое произведение в мировой литературе, действие которого происходит в абсолютной пустоте». На самом деле оно происходит в 1919 году в дивизии Чапаева, в которой главный герой, поэт-декадент Петр Пустота, служит комиссаром, а также в наши дни, а также, как и всегда у Пелевина, в виртуальном пространстве, где с главным героем встречаются Кавабата, Шварценеггер, «просто Мария»... По мнению критиков, "Чапаев и Пустота" является "первым серьезным дзэн-буддистским романом в русской литературе".

ISBN 978-5-457-07250-3

© Пелевин В. О., 1996

© ФТМ, 1996

Содержание

1	7
2	23
3	42
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Виктор ПЕЛЕВИН ЧАПАЕВ И ПУСТОТА

Глядя на лошадиные морды и лица людей, на безбрежный живой поток, поднятый моей волей и мчащийся в никуда по багровой закатной степи, я часто думаю: где Я в этом потоке?

Чингиз-хан

Имя действительного автора этой рукописи, созданной в первой половине двадцатых годов в одном из монастырей Внутренней Монголии, по многим причинам не может быть названо, и она печатается под фамилией подготовившего ее к публикации редактора. Из оригинала исключены описания ряда магических процедур, а также значительные по объему воспоминания повествователя о его жизни в дореволюционном Петербурге (т.н. «Петербургский Период»). Данное автором жанровое определение – «особый взлет свободной мысли» – опущено; его следует, по всей видимости, расценивать как шутку.

История, рассказываемая автором, интересна как психологический дневник, обладающий рядом несомненных художественных достоинств, и ни в коей мере не претендует на что-то большее, хотя порой автор и берется обсуждать предметы, которые, на наш взгляд, не нуждаются ни в каких обсуждениях. Некоторая судорожность повествования объясняется тем, что целью написания этого текста было не создание «литературного произведения», а фиксация механических циклов сознания с целью окончательного излечения от так называемой внутренней жизни. Кроме того, в двух или трех местах автор пытается скорее непосредственно указать на ум читателя, чем заставить его увидеть очередной слеplенный из слов фантом; к сожалению, эта задача слишком проста, чтобы такие попытки могли увенчаться успехом. Специалисты по литературе, вероятно, увидят в нашем повествовании всего лишь очередной продукт модного в последние годы критического солипсизма, но подлинная ценность этого документа заключается в том, что он является первой в мировой культуре попыткой отразить художественными средствами древний монгольский миф о Вечном Невозвращении.

Теперь скажем несколько слов о главном действующем лице книги. Редактор этого текста однажды прочел мне танка поэта Пушкина:

*И мрачный год, в который пало столько
Отважных, добрых и прекрасных жертв,
Едва оставил память о себе
В какой-нибудь простой пастушьей песне,
Унылой и приятной.*

В переводе на монгольский словосочетание «отважная жертва» звучит странно. Но здесь не место углубляться в эту тему – мы только хотели сказать, что последние три строки этого стихотворения в полной мере могут быть отнесены к истории Василия Чапаева.

Что знают сейчас об этом человеке? Насколько мы можем судить, в народной памяти его образ приобрел чисто мифологические черты, и в русском фольклоре Чапаев является чем-то вроде знаменитого Ходжи Насреддина. Он герой бесконечного количества анекдотов, основанных на известном фильме тридцатых годов. В этом фильме Чапаев представлен красным кавалерийским командиром, который сражается с белыми, ведет длинные задушевные разговоры со своим адъютантом Петькой и пулеметчицей Анкой и в конце тонет, пытаясь переплыть реку Урал во время атаки белых. Но к жизни реального

Чапаева это не имеет никакого отношения, а если и имеет, то подлинные факты неузнаваемо искажены домыслами и недомолвками.

Вся эта путаница связана с книгой «Чапаев», которая была впервые напечатана одним из парижских издательств на французском языке в 1923 году и со странной поспешностью переиздана в России. Не станем тратить времени на доказательства ее неаутентичности. Любой желающий без труда обнаружит в ней массу неувязок и противоречий, да и сам ее дух – лучшее свидетельство того, что автор (или авторы) не имели никакого отношения к событиям, которые тщатся описать. Заметим кстати, что, хотя господин Фурманов и встречался с историческим Чапаевым по меньшей мере дважды, он никак не мог быть создателем этой книги по причинам, которые будут видны из нашего повествования. Невероятно, но приписываемый ему текст многие до сих пор воспринимают чуть ли не как документальный.

За этим существующим уже более полувека подлогом несложно увидеть деятельность щедро финансируемых и чрезвычайно активных сил, которые заинтересованы в том, чтобы правда о Чапаеве была как можно дольше скрыта от народов Евразии. Но сам факт обнаружения настоящей рукописи, как нам кажется, достаточно ясно говорит о новом балансе сил на континенте.

И последнее. Мы изменили название оригинального текста (он озаглавлен «Василий Чапаев») именно во избежание путаницы с распространенной подделкой. Название «Чапаев и Пустота» выбрано как наиболее простое и несуггестивное, хотя редактор предлагал два других варианта – «Сад расходящихся Петек» и «Черный бублик».

Посвящаем созданную этим текстом заслугу благу всех живых существ.

Ом мани падме хум.

Урган Джамбон Тулку VII,

Председатель Буддийского Фронта Полного и Окончательного Освобождения (ПОО

(б))

1

Тверской бульвар был почти таким же, как и два года назад, когда я последний раз его видел – опять был февраль, сугробы и мгла, странным образом проникавшая даже в дневной свет. На скамейках сидели те же неподвижные старухи; вверх, над черной сеткой ветвей, серело то же небо, похожее на ветхий, до земли провисший под тяжестью спящего Бога матрац.

Была, впрочем, и разница. Этой зимой по аллеям мела какая-то совершенно степная метель, и, попадись мне навстречу пара волков, я совершенно не удивился бы. Бронзовый Пушкин казался чуть печальней, чем обычно – оттого, наверно, что на груди у него висел красный фартук с надписью: «Да здравствует первая годовщина Революции». Но никакого желания иронизировать по поводу того, что здравствовать предлагалось годовщине, а революция была написана через «ять», у меня не было – за последнее время я имел много возможностей разглядеть демонический лик, который прятался за всеми этими короткими нелепицами на красном.

Уже начинало темнеть. Страстной монастырь был еле виден за снежной мглой. На площади перед ним стояли два грузовика с высокими кузовами, обтянутыми ярко-алой материей; вокруг колыхалась толпа, и долетал голос оратора – я почти ничего не разбирал, но смысл был ясен по интонации и пулеметному «р-р» в словах «пролетариат» и «террор». Мимо меня прошли два пьяных солдата, за плечами у которых качались винтовки с прикнутыми штыками. Солдаты торопились на площадь, но один из них, остановив на мне наглый взгляд, замедлил шаг и открыл рот, словно собираясь что-то сказать; к счастью – и его, и моему – второй дернул его за рукав, и они ушли.

Я повернулся и быстро пошел вниз по бульвару, гадая, отчего мой вид вызывает постоянные подозрения у всей этой сволочи. Конечно, одет я был безобразно и безвкусно – на мне было грязное английское пальто с широким хлястиком, военная – разумеется, без кокарды – шапка вроде той, что носил Александр Второй, и офицерские сапоги. Но дело было, видимо, не только в одежде. Вокруг было немало людей, выглядящих куда более нелепо. К примеру, на Тверской я видел совершенно безумного господина в золотых очках, который, держа в руках икону, шел к черному безлюдному Кремлю – но никто не обращал на него внимания. Я же постоянно ловил на себе косые взгляды и каждый раз вспоминал, что у меня нет ни денег, ни документов. Вчера в привокзальном клозете я нацепил было на грудь красный бант, но снял его сразу же после того, как увидел свое отражение в треснутом зеркале; с бантом я выглядел не только глупо, но и вдвойне подозрительно.

Впрочем, возможно, что никто на самом деле не задерживал на мне взгляда дольше, чем на других, а виной всему были взвинченные нервы и ожидание ареста. Я не испытывал страха смерти. Быть может, думал я, она уже произошла, и этот ледяной бульвар, по которому я иду, не что иное, как преддверие мира теней. Мне, кстати, давно уже приходило в голову, что русским душам суждено пересекать Стикс, когда тот замерзает, и монету получает не паромщик, а некто в сером, дающий напрокат пару коньков (разумеется, та же духовная сущность).

О, в каких подробностях увидел я вдруг эту сцену! Граф Толстой в черном трико, широко взмахивая руками, катил по льду к далекому горизонту; его движения были медленны и торжественны, но двигался он быстро, так, что трехглавый пес, мчавшийся за ним с беззвучным лаем, никак не мог его догнать. Унылый красно-желтый луч неземного заката довершал картину. Я тихо засмеялся, и в этот самый момент чья-то ладонь хлопнула меня по плечу.

Я шагнул в сторону, резко обернулся, ловя в кармане рукоять нагана, и с изумлением увидел перед собой Григория фон Эрнена – человека, которого я знал с детских лет. Но боже мой, в каком виде! Он был с головы до ног в черной коже, на боку у него болталась коробка с маузером, а в руке был какой-то несуразный акушерский саквояж.

– Рад, что ты еще способен смеяться, – сказал он.

– Здравствуй, Гриша, – ответил я. – Странно тебя видеть.

– Отчего же?

– Так. Странно.

– Откуда и куда? – бодро спросил он.

– Из Питера, – ответил я. – А вот куда – это я хотел бы узнать сам.

– Тогда ко мне, – сказал фон Эрнен, – я тут рядом, один во всей квартире.

Глядя друг на друга, улыбаясь и обмениваясь бессмысленными словами, мы пошли вниз по бульвару. За то время, пока мы не виделись, фон Эрнен отпустил бородку, которая сделала его лицо похожим на проросшую луковицу; его щеки обветрились и налились румянцем, словно несколько зим подряд он с большой пользой для здоровья катался на коньках.

Мы учились в одной гимназии, но после этого виделись редко. Пару раз я встречал его в петербургских литературных салонах – он писал стихи, напоминавшие не то предавшегося содомии Некрасова, не то поверившего Марксу Надсона. Меня немного раздражала его манера нюхать на людях кокаин и постоянно намекать на свои связи в социал-демократических кругах. Впрочем, последнее, судя по его нынешнему виду, было правдой. Было поучительно видеть на человеке, который горазд был в свое время поговорить о мистическом смысле Св. Троицы, явные знаки принадлежности к воинству тьмы – но, разумеется, в такой перемене не было ничего неожиданного. Многие декаденты вроде Маяковского, учуяв явно адский характер новой власти, поспешили предложить ей свои услуги. Я, кстати, думаю, что ими двигал не сознательный сатанизм – для этого они были слишком инфантильны, – а эстетический инстинкт: красная пентаграмма великолепно дополняет желтую кофту.

– Как дела в Питере? – спросил фон Эрнен.

– А то сам не знаешь, – сказал я.

– Верно, – поскучнев, согласился фон Эрнен. – Знаю.

Мы свернули с бульвара, перешли мостовую и оказались у семиэтажного доходного дома прямо напротив гостиницы «Палас» – у дверей гостиницы стояли два пулемета, курили матросы и трепалась на ветру красная мулета на длинной палке. Фон Эрнен дернул меня за рукав.

– Глянь-ка, – сказал он.

Я повернул голову. На мостовой напротив подъезда стоял длинный черный автомобиль с открытым передним сиденьем и кургузой кабинкой для пассажиров. На переднее сиденье намело изрядно снега.

– Что? – спросил я.

– Мой, – сказал фон Эрнен. – Служебный.

– А, – сказал я. – Поздравляю.

Мы вошли в подъезд. Лифт не работал, и нам пришлось подниматься по темной лестнице, с которой еще не успели ободрать ковровую дорожку.

– Чем ты занимаешься? – спросил я.

– О, – сказал фон Эрнен, – так сразу не объяснишь. Работы много, даже слишком. Одно, другое, третье – и все время стараешься успеть. Сначала там, потом здесь. Кто-то же должен все это делать.

– По культурной части, что ли?

Он как-то неопределенно наклонил голову вбок. Я не стал расспрашивать дальше.

Поднявшись на пятый этаж, мы подошли к высокой двери, на которой отчетливо выделялся светлый прямоугольник от сорванной таблички. Дверь открылась, мы вошли в темную прихожую, и на стене немедленно задребезжал телефон. Фон Эрнен снял трубку.

– Да, товарищ Бабаясин, – заорал он в эбонитовую чашку. – Да, помню... нет, не присылайте... Товарищ Бабаясин, да не могу я, ведь смешно будет... Только представить – с матросами, это же позор... Что? Приказу подчиняюсь, но заявляю решительный протест... Что?

Он покосился на меня, и, не желая смущать его, я прошел в гостиную.

Пол там был застелен газетами, причем большинство из них было уже давно запрещено – видимо, в этой квартире сохранились подшивки. Видны были и другие следы прежней жизни – на стене висел прелестный турецкий ковер, а под ним стоял секретер в разноцветных эмалевых ромбах – при взгляде на него я сразу понял, что тут жила благополучная кадетская семья. У стены напротив помещалось большое зеркало. Рядом висело распятие в стиле модерн, и на секунду я задумался о характере религиозного чувства, которое могло бы ему соответствовать. Значительную часть пространства занимала огромная кровать под желтым балдахином. То, что стояло на круглом столе в центре комнаты, показалось мне – возможно, из-за соседства с распятием – натюрмортом с мотивами эзотерического христианства: литровка водки, жестяная банка от халвы в форме сердца, ведущая в пустоту лесенка из лежащих друг на друге трех кусков черного хлеба, три граненых стакана и крестообразный консервный нож.

Возле зеркала на полу валялись тюки, вид которых заставил меня подумать о контрабанде; пахло в комнате кисло, портянками и перегаром, и еще было много пустых бутылок. Я сел за стол.

Вскоре скрипнула дверь, и вошел фон Эрнен. Он снял кожанку, оставшись в подчеркнуто солдатской гимнастерке.

– Черт знает что поручают, – сказал он, садясь, – вот из ЧК звонили. – Ты и у них работаешь?

– Избегаю как могу.

– Да как ты вообще попал в эту компанию?

Фон Эрнен широко улыбнулся.

– Вот уж что легче легкого. Пять минут поговорил с Горьким по телефону...

– И что, сразу дали маузер и авто?

– Послушай, – сказал он, – жизнь – это театр. Факт известный. Но вот о чем говорят значительно реже, это о том, что в этом театре каждый день идет новая пьеса. Так вот теперь, Петя, я такое ставлю, такое...

Он поднял руки над головой и потряс ими в воздухе, словно звеня монетами в невидимом мешке.

– Дело даже не в самой пьесе, – сказал он. – Если продолжить это сравнение, раньше кто угодно мог швырнуть из зала на сцену тухлое яйцо, а сейчас со сцены каждый день палят из нагана, а могут и бомбу кинуть. Вот и подумай – кем сейчас лучше быть? Актером или зрителем?

Это был серьезный вопрос.

– Как бы тебе ответить, – сказал я задумчиво. – Этот твой театр слишком уж начинается с вешалки. Ею же он, я полагаю, и кончается. А будущее, – я ткнул пальцем вверх, – все равно за кинематографом.

Фон Эрнен хихикнул и качнул головой.

– Но ты все же подумай над моими словами, – сказал он.

– Обещаю, – ответил я.

Он налил себе водки и выпил.

– Ух, – сказал он. – Насчет театра. Ты знаешь, кто сейчас комиссар театров? Мадам Малиновская. Вы ведь знакомы?

– Не помню. Какая еще к черту мадам Малиновская.

Фон Эрнен вздохнул. Встав, он молча прошелся по комнате.

– Петя, – сказал он, садясь напротив и заглядывая мне в глаза, – мы тут шутим, шутим, а я ведь вижу, что ты не в порядке. Что у тебя стряслось? Мы с тобой, конечно, старые друзья, но даже несмотря на это я мог бы помочь.

Я решился.

– Признаюсь тебе честно. Ко мне в Петербурге три дня назад приходили.

– Откуда?

– Из твоего театра.

– Как так? – подняв брови, спросил он.

– А очень просто. Пришли трое с Гороховой, один представился каким-то литературным работником, а остальным и представляться было не надо. Поговорили со мной минут сорок, работник этот в основном, а потом говорят – интересная у нас беседа, но продолжить ее придется в другом месте. Мне в это другое место идти не хотелось, потому что возвращаются оттуда, как ты знаешь, довольно редко...

– Но ты же вернулся, – перебил фон Эрнен.

– Я не вернулся, – сказал я, – я туда попросту не пошел. Я, Гриша, убежал от них. Знаешь, как в детстве от дворника.

– Но почему они к тебе пришли? – спросил фон Эрнен. – Ты же человек от политики далекий. Натворил что-нибудь?

– Да ничего я не натворил. Смешно рассказывать. Я одно стихотворение напечатал – с их точки зрения, в какой-то не такой газете – так вот там рифма была, которая им не понравилась. «Броневи́к» – «лишь на миг». Ты себе можешь это представить?

– А о чем было стихотворение?

– О, совершенно абстрактное. Там было о потоке времени, который размывает стену настоящего, и на ней появляются все новые и новые узоры, часть которых мы называем прошлым. Память уверяет нас, что вчерашний день действительно был, но как знать, не появилась ли вся эта память с первым утренним лучом?

– Не вполне понимаю, – сказал фон Эрнен.

– Я тоже, – сказал я, – не в этом дело. Главное, что я хочу сказать – никакой политики там не было. То есть мне так казалось. А им показалось иначе, они мне это объяснили. Самое страшное, что после беседы с их консультантом я действительно понял его логику, понял так глубоко, что... Это было до того страшно, что когда меня вывели на улицу, я побежал – не столько даже от них, сколько от этого понимания...

Фон Эрнен поморщился.

– Вся эта история – чушь собачья, – сказал он. – Они, конечно, идиоты. Но ты и сам хорош. Это ты из-за этого в Москву приехал?

– Ну а что было делать? Я ведь, когда убегал, отстреливался. Ты-то понимаешь, что я стрелял в сотканный собственным страхом призрак, но ведь на Гороховой этого не объяснить. То есть я даже допускаю, что я смог бы это объяснить, но они бы обязательно спросили – а почему, собственно, вы по призракам стреляете? Вам что, не нравятся призраки, которые бродят по Европе?

Фон Эрнен взглянул на меня и погрузился в размышления. Я смотрел на его ладони – он еле заметно тер их о скатерть, будто вытирая выступивший пот, а потом вдруг убрал под стол. На его лице отразилось отчаяние, и я почувствовал, что наша встреча и мой рассказ ставят его в крайне неприятное положение.

– Это, конечно, хуже, – пробормотал он. – Но хорошо, что ты доверяешь мне. Я думаю, мы это уладим... Уладим, уладим... Сейчас звякну Алексею Максимовичу... Руки на голову.

Последние слова я понял только тогда, когда увидел лежащее на скатерти дуло маузера. Поразительно, но следующее, что он сделал, так это вынул из нагрудного кармана пенсне и нацепил его на нос.

– Руки на голову, – повторил он.

– Ты что, – сказал я, поднимая руки, – Гриша?

– Нет, – сказал он.

– Что «нет»?

– Оружие и бумаги на стол, вот что.

– Как же я положу их на стол, – сказал я, – если у меня руки на голове?

Он взвел курок своего пистолета.

– Господи, – сказал он, – знал бы ты, сколько раз я слышал именно эту фразу.

– Ну что же, – сказал я. – Револьвер в пальто. Какой ты удивительный подлец. Впрочем, я это с детства знал. Зачем тебе все это? Орден дадут?

Фон Эрнен улыбнулся.

– В коридор, – сказал он.

Когда мы оказались в коридоре, он, по-прежнему держа меня на прицеле, обшарил карманы моего пальто, вынул оттуда револьвер и сунул его в карман. В его движениях была какая-то стыдливая суетливость, как у впервые пришедшего в публичный дом гимназиста, и я подумал, что ему, может быть, до этого не приходилось делать подлость так обыденно и открыто.

– Отопри дверь, – велел он, – и на лестницу.

– Позволь пальто надеть, – сказал я, лихорадочно думая, могу ли я сказать этому возбужденному собственной низостью человеку хоть что-нибудь, способное изменить рисовавшееся развитие событий.

– Нам недалеко, – сказал фон Эрнен, – через бульвар. Хотя, впрочем, надень.

Я двумя руками снял с вешалки пальто, чуть повернулся, чтобы просунуть руку в рукав, и в следующий момент неожиданно для самого себя набросил его на фон Эрнена – не просто швырнул пальто в его сторону, а именно накинул.

До сих пор не пойму, как он меня не застрелил – но факт остается фактом: он нажал на курок, только когда падал на пол под тяжестью моего тела, и пуля, пройдя в нескольких сантиметрах от моего бока, ударила во входную дверь. Пальто накрыло упавшего фон Эрнена с головой, и я схватил его за горло прямо сквозь толстую ткань, но она почти не помешала; коленом я успел придавить к полу запястье его руки, сжимавшей пистолет, и перед тем, как его пальцы разжались, он всадил в стену еще несколько пуль. Я почти оглох от грохота. Кажется, во время нашей схватки я ударил его головой в накрытое лицо – во всяком случае, я отчетливо помню тихий хруст пенсне в промежутке между двумя выстрелами.

Когда он затих, я долго не решался отпустить его горло. Мои руки почти не подчинялись мне; чтобы восстановить дыхание, я сделал дыхательное упражнение. Оно подействовало странным образом – со мной сделалась легкая истерика. Я вдруг увидел эту сцену со стороны: некто сидит на трупе только что задушенного приятеля и старательно дышит по описанному в «Изиде» методу йога Рамачараки. Я поднялся на ноги, и тут на меня обрушилось понимание того, что я только что совершил убийство.

Конечно, как и любой не до конца доверяющий властям человек, я постоянно носил с собой револьвер, а два дня назад спокойно пустил его в ход. Но тут было другое, тут была какая-то темная достоевщина – пустая квартира, труп, накрытый английским пальто, и дверь во враждебный мир, к которой уже шли, быть может, досужие люди... Усилием воли я прогнал эти мысли – вся достоевщина, разумеется, была не в этом трупе и не в этой двери

с пулевой пробоиной, а во мне самом, в моем сознании, пораженном метастазами чужого покаяния.

Приоткрыв дверь на лестницу, я несколько секунд прислушивался. Ничего слышно не было, и я подумал, что несколько pistolетных выстрелов могли и не привлечь к себе внимания.

Мой револьвер остался в кармане брюк фон Эрнена, и мне совершенно не хотелось лезть за ним. Я подобрал и осмотрел его маузер – это была отличная машина, и совсем новая. Заставив себя обшарить его куртку, я обнаружил пачку «Иры», запасную обойму для маузера и удостоверение на имя сотрудника ЧК Григория Фанерного. Да, подумал я, да. А ведь еще в детстве можно было понять.

Присев на корточки, я открыл замки его акушерского саквояжа. Внутри лежала канцелярская папка с незаполненными ордерами на арест, еще две обоймы, жестяная банка, полная кокаина, какие-то медицинские щипцы крайне неприятного вида (их я сразу швырнул в угол) и толстая пачка денег, в которой с одной стороны были радужные думские сотни, а с другой – доллары. Все это было очень кстати. Чтобы немного прийти в себя после пережитого потрясения, я зарядил ноздри изрядным количеством кокаина. Он бритвой полоснул по мозгам, и я сразу сделался спокоен. Я не любил кокаин – он делал меня слишком сентиментальным, но сейчас мне нужно было быстро прийти в себя.

Подхватив фон Эрнена под руки, я поволок его по коридору, пинком открыл дверь одной из комнат и собирался уже втолкнуть его туда, но замер в дверях. Несмотря на разгром и запустение, здесь еще видны были следы прежней, озаренной довоенным светом жизни. Это была бывшая детская – у стены стояли две маленькие кровати с легкими бамбуковыми ограждениями, а на стене углем были нарисованы лошадь и усатое лицо (отчего-то я подумал о декабристах). На полу лежал красный резиновый мяч – увидев его, я сразу закрыл дверь и потащил фон Эрнена дальше. Соседняя комната поразила меня своей траурной простотой: в ее центре стоял черный рояль с открытой крышкой, рядом – вращающийся стул, и больше не было ничего.

К этому моменту мною овладело новое состояние. Оставив фон Эрнена полусидеть в углу (все время транспортировки я тщательно следил, чтобы его лицо не показалось из-за серой ткани пальто), я сел за рояль. Поразительно, подумал я, товарищ Фанерный и рядом, и нет. Кто знает, какие превращения претерпевает сейчас его душа? Мне вспомнилось его стихотворение, года три назад напечатанное в «Новом Сатириконе» – там как бы пересказывалась газетная статья о разгоне очередной Думы, а акростихом выходило «мане текел фарес». Ведь жил, думал, прикидывал. Как странно.

Я повернулся к роялю и стал тихо наигрывать из Моцарта, свою любимую фугу фа минор, всегда заставлявшую меня жалеть, что у меня нет тех четырех рук, которые грезились великому сумасброду. Охватившая меня меланхолия не имела отношения к эксцессу с фон Эрненом; перед моими глазами встали бамбуковые кровати из соседней комнаты, и на секунду представилось чужое детство, чей-то чистый взгляд на закатное небо, чей-то невыразимо трогательный мир, унесшийся в небытие. Но играл я недолго – рояль был расстроен, а мне, вероятно, надо было спешить. Но куда?

Пора было подумать о том, как провести вечер. Я вернулся в коридор и с сомнением поглядел на кожанку фон Эрнена, но ничего больше не оставалось. Несмотря на рискованность некоторых своих литературных опытов, я все же был недостаточно декадентом, чтобы надеть пальто, уже ставшее саваном и к тому же простреленное на спине. Сняв куртку с вешалки и подобрав саквояж, я пошел в комнату, где было зеркало.

Кожанка пришлась мне впору – мы с покойником были практически одного роста. Когда я перетянул ее ремнем с болтающейся кобурой и посмотрел на свое отражение, я увидел вполне нормального большевика. Полагаю, что осмотр лежавших у стены тюков мог

за несколько минут сделать меня богатым человеком, но победила брезгливость. Тщательно перезарядив пистолет, я проверил, легко ли он выскакивает из кобуры, остался доволен и уже собирался выйти из комнаты, когда из коридора послышались голоса. Я понял, что все это время входная дверь оставалась открытой.

Я кинулся к балкону. Он выходил на Тверской бульвар, и под ним было метров двадцать холодной темной пустоты, в которой крутились снежинки. В пятне света от фонаря был виден автомобиль фон Эрнена, на переднем сиденье которого сидел непонятно откуда взявшийся человек в большевистском шлеме. Я решил, что фон Эрнен успел вызвать по телефону чекистов. Перелезть на нижний балкон было невозможно, и я кинулся назад в комнату. В дверь уже барабанили. Ну что же – когда-нибудь все это должно было кончиться. Я навел на дверь маузер и крикнул:

– Прошу!

Дверь открылась, и в комнату ввалились два увешанных бутылочными бомбами матроса в бушлатах и развратнейше расклешенных штанах. Один из них, с усами, был уже в годах, а второй был молод, но с дряблым и анемичным лицом. Никакого внимания на пистолет в моей руке они не обратили.

– Ты Фанерный? – спросил тот, что был постарше и с усами.

– Я.

– Держи, – сказал матрос и протянул мне сложенную вдвое бумажку.

Я спрятал маузер в кобуру и развернул ее:

*«Тов. Фанерный! Немедленно поезжайте в музыкальную табакерку
провести нашу линию. Для содействия посылаю Жербунова и Барболина.
Товарищи опытные. Бабаясин»*

Под текстом была неразборчивая печать. Пока я думал, что мне говорить, они сели за стол.

– Шофер внизу – ваш? – спросил я.

– Наш, – сказал усатый. – А машину твою возьмем. Тебя как звать?

– Петр, – сказал я и чуть не прикусил язык.

– Я Жербунов, – сказал пожилой и усатый.

– Барболин, – представился молодой. Голос у него был нежный и почти женский.

Я сел за стол напротив них. Жербунов налил три стакана водки, подвинул один ко мне и поднял на меня глаза. Я понял, что он чего-то ждет.

– Ну что, – сказал я, берясь за свой стакан, – как говорится, за победу мировой революции!

Мой тост не вызвал у них энтузиазма.

– За победу оно конечно, – сказал Барболин, – а марафет?

– Какой марафет? – спросил я.

– Ты дурочку не валяй, – строго сказал Жербунов, – нам Бабаясин говорил, что тебе сегодня жестянку выдали.

– Ах, так вы про кокаин говорите, – догадался я и полез в саквояж за банкой. – А то ведь «марафет», товарищи, слово многозначное. Может, вы эфиру хотите, как Вильям Джеймс.

– Кто такой? – спросил Барболин, беря жестянку в свою широкую и грубую ладонь.

– Английский товарищ.

Жербунов недоверчиво хмыкнул, а у Барболина на лице на миг отобразилось одно из тех чувств, которые так любили запечатлевать русские художники девятнадцатого века, создавая народные типы – что вот есть где-то большой и загадочный мир, и столько в нем непонятного и влекущего, и не то что всерьез надеешься когда-нибудь туда попасть, а просто тянет иногда помечтать о несбыточном.

Напряжение сняло как рукой. Жербунов открыл банку, взял со скатерти нож, зачерпнул им чудовищное количество порошка и быстро размешал его в водке. То же сделал и Барболин – сначала со своим стаканом, а потом с моим.

– Вот теперь и за мировую революцию не стыдно, – сказал он.

Видимо, на моем лице отразилось сомнение, потому что Жербунов ухмыльнулся и сказал:

– Это, браток, с «Авроры» пошло, от истоков. Называется «балтийский чай».

Они подняли стаканы, залпом выпили их содержимое, и мне ничего не оставалось, кроме как последовать их примеру. Почти сразу же горло у меня онемело. Я закурил папиросу, затянулся, но совершенно не почувствовал вкуса дыма. Около минуты мы сидели молча.

– Идти надо, – сказал вдруг Жербунов и встал из-за стола. – Иван замерзнет.

В каком-то оцепенении я спрятал банку от монпансье в саквояж, встал и пошел за ними. Задержавшись в коридоре, я попытался найти свою шапку, не смог и нацепил фуражку фон Эрнена. Мы вышли из квартиры и молча пошли вниз по полутемной лестнице.

Я вдруг заметил, что на душе у меня легко и спокойно, и чем дальше я иду, тем делается спокойнее и легче. Я не думал о будущем – с меня было достаточно того, что мне не угрожает непосредственная опасность, и, проходя по темным лестничным клеткам, я любовался удивительной красоты снежинками, крутившимися за стеклом. Если вдуматься, я и сам был чем-то вроде такой снежинки, и ветер судьбы нес меня куда-то вперед, вслед за двумя другими снежинками в черных бушлатах, топавшими по лестнице впереди. Кстати, несмотря на охватившую меня эйфорию, я не потерял способности трезво воспринимать действительность и сделал одно интересное наблюдение. Еще в Петрограде меня интересовало, каким образом на матросах держатся их тяжелые, утыканые патронами сбруи. На клетке третьего этажа, где горела одинокая лампа, я разглядел на спине Жербунова несколько крючков, которыми, наподобие бюстгальтера, были соединены пулеметные ленты. Мне сразу представилось, как Жербунов с Барболиным, собираясь на очередное убийство, словно две девушки в купальне, помогают друг другу справиться с этой сложной частью туалета. Это показалось мне еще одним доказательством женственной природы всех революций. Я вдруг понял некоторые из новых настроений Александра Блока; видимо, из моего горла вырвался какой-то возглас, потому что Барболин обернулся.

– А ты не хотел, дура, – сказал он, сверкнув золотым зубом.

Мы вышли на улицу. Барболин что-то сказал солдату, сидевшему на открытом переднем сиденье машины, открыл дверь, и мы влезли внутрь. Машина сразу тронулась. Сквозь скругленное по краям переднее стекло кабинки была видна заснеженная спина и островерхий войлочный шлем; казалось, что нашим экипажем правит ибсеновский тролль. Я подумал, что конструкция авто крайне неудобна и к тому же унизительна для шофера, который всегда открыт непогоде – но, может быть, это было устроено специально, чтобы во время поездки пассажиры могли наслаждаться не только видами в окне, но и классовым неравенством.

Я повернулся к боковому стеклу. Улица была пуста, а падающий на мостовую снег – необыкновенно красив. Его освещали редкие фонари; в свете одного из них на стене дома мелькнуло размашистое граффити «LENINE EST MERDE».

Когда автомобиль затормозил, я уже немного пришел в себя. Мы вылезли на неизвестной улице возле ничем не примечательной подворотни, перед которой стояли пара автомобилей и несколько лихачей; поодаль я заметил устрашающего вида броневик со снежной шапкой на пулеметной башне, но не успел его рассмотреть – матросы сразу нырнули в подворотню. Пройдя невыразимо угнетающий двор, мы оказались перед дверью, над которой

торчал чугунный козырек с завитками и амурами в купеческом духе. К козырьку была прикреплена небольшая вывеска:

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТАБАКЕРКА

литературное кабаре

Несколько соседних с дверью окон, плотно затянутых розовыми занавесками, светились; из-за них доносился заунывно-красивый звук неясного инструмента.

Жербунов дернул дверь на себя. За ней открылся короткий коридор, увешанный тяжелыми шубами и шинелями; в его конце был плотный бархатный занавес. Навстречу нам поднялся с табурета похожий на преступника человек в красной косоворотке.

— Граждане матросы, — начал он, — у нас...

Барболин цирковым движением крутанул вокруг плеча винтовку и ударил его прикладом в низ живота. Бедняга сполз по стене на пол; на его недобром лице проступили усталость и отвращение. Жербунов отдернул занавес, и мы вошли в полутемный зал.

Чувствуя необыкновенный прилив энергии, я огляделся по сторонам. Место напоминало обычный, с претензией на шик, ресторан средней руки. За небольшими круглыми столиками, в густых клубах дыма сидела пестрая публика. Кажется, кто-то курил опиум. На нас не обратили внимания, и мы сели за пустой столик недалеко от входа.

Зал кончался ярко освещенной эстрадой, где на черном бархатном табурете, закинув ногу за ногу, сидел бритый господин во фраке. Одна из его ног была боса. Смычок в его правой руке скользил по тупой стороне длинной пилы, одну ручку которой он прижимал ногой к полу, а другую сжимал в левом кулаке, заставляя пилу изгибаться и дрожать. Когда ему надо было погасить вибрации сверкающего полотна, он на секунду прижимал к нему босую стопу; рядом с ним на полу стояла лаковая туфля, из которой торчал ослепительно белый носок. Звук, который господин извлекал из своего инструмента, был совершенно неземным, чарующим и печальным; он, кажется, играл какую-то простую мелодию, но она была не важна — все дело было в тембре, в переливах одной надолго замирающей ноты, падавшей прямо в сердце.

Портьера у входа колыхнулась, и оттуда высунулся человек в косоворотке. Он щелкнул пальцами куда-то в темноту и кивнул на наш столик, потом повернулся к нам, отвесил короткий формальный поклон и исчез за портьерой. Тотчас откуда-то вынырнул половой с подносом в одной руке и медным чайником в другой (такие же чайники стояли на других столах). На подносе помещалось блюдо с пирожками, три чайные чашки и крохотный свисток. Половой расставил перед нами чашки, наполнил их из чайника и замер в ожидании. Я протянул ему наугад вынутую из саквояжа бумажку — кажется, это была десятидолларовая банкнота. Сперва я не понял, зачем на подносе лежит свисток, но тут за одним из соседних столиков раздался тихий мелодичный свист, и половой кинулся на этот звук.

Жербунов отхлебнул из чашки и недовольно хмыкнул. Я тоже сделал глоток из своей. Это была ханжа, плохая китайская водка из гаоляна. Я принялся жевать пирожок, совершенно не чувствуя его вкуса — заморозивший мое горло кокаин еще давал себя знать.

— С чем пирожки-то? — нежно спросил Барболин. — Говорят, тут люди пропадают. Как бы не оскоромиться.

— А я ел, — просто сказал Жербунов. — Как говядина.

Больше не в силах этого выносить, я вынул банку, и Барболин принялся развешивать порошок по чашкам.

Между тем господин во фраке кончил играть, изящно и быстро надел носок и туфлю, встал, поклонился, подхватил табурет и под редкие хлопки ушел со сцены. Из-за столика возле эстрады поднялся благообразный мужчина с седой бородкой, вокруг горла которого, словно чтобы скрыть след от укуса, был обмотан серый шарф. Я с удивлением узнал в нем Валерия Брюсова, постаревшего и высохшего. Он взошел на эстраду и обратился к залу:

– Товарищи! Хотя мы и живем в визуальную эпоху, когда набранный на бумаге текст вытесняется зрительным рядом, или... хмм... – он закатил глаза, сделал паузу, и стало ясно, что сейчас он произнесет один из своих идиотских каламбуров, – или, я бы даже сказал, зрительным залом... хмм... традиция не сдается и ищет для себя новые формы. То, что вы сегодня увидите, я определил бы как один из ярких примеров искусства эгопупистического постреализма. Сейчас перед вами будет разыграна написанная одним... хмм... одним пострелом... хмм... маленькая трагедия. Именно так ее автор, камерный поэт Иоанн Павлухин, определил жанр своего произведения. Итак – маленькая трагедия «Раскольников и Мармеладов». Прошу.

– Прошу, – эхом повторил Жербунов, и мы выпили.

Брюсов сошел с эстрады и вернулся за свой столик. Двое людей в военной форме вынесли из-за кулис на эстраду громоздкую позолоченную лиру на подставке и табурет. Затем они принесли столик, поставили на него пузатую ликерную бутылку и две рюмки, прикрепили к кулисам куски картона со словами «Раскольниковъ» и «Мармеладовъ» (я сразу решил, что мягкий знак на конце слова – не ошибка, а какой-то символ), а в центре повесили табличку с непонятным словом «йхвй», вписанным в синий пятиугольник. Разместив эти предметы, они исчезли. Из-за кулис вышла женщина в длинном хитоне, села за лиру и принялась неспешно перебирать струны. Так прошло несколько минут.

Затем на сцене появились четверо человек в длинных черных плащах. Каждый из них встал на одно колено и поднятой черной полой заслонил лицо от зала. Кто-то зааплодировал. На противоположных концах эстрады появились две фигуры на высоких котурнах, в длинных белых хламидах и греческих масках. Они стали медленно сходить и остановились, немного не дойдя друг до друга. У одного из них в увитой розами петле под мышкой висел топор, и я понял, что это Раскольников. Собственно, понять можно было и без топора, потому что на кулисах напротив него висела табличка с фамилией. Актер, остановившийся у таблички «Мармеладовъ», медленно поднял руку и нараспев заговорил:

– Я – Мармеладов. Сказать по секрету,
мне уже некуда больше идти.
Долго ходил я по белому свету,
но не увидел огней впереди.
Я заключаю по вашему взгляду,
что вам не чужд угнетенный народ.
Может быть, выпьем? Налить вам?
– Не надо.

Актер с топором отвечал так же распевно, но басом; заговорив, он поднял руку и вытянул ее в сторону Мармеладова, который, быстро налив себе рюмку и опрокинув ее в отверстие маски, продолжил:

– Как вам угодно. За вас. Ну так вот,
лик ваш исполнен таинственной славы,
рот ваш красивый с улыбкой молчит,
бледен ваш лоб и ладони кровавы.

А у меня не осталось причин,
чтоб за лица неподвижною кожей
гордою силой цвела пустота,
и выходило на Бога похоже.
Вы понимаете?
– Думаю, да...

Меня пихнул локтем Жербунов.

– Чего скажешь? – тихо спросил он.

– Рано пока, – ответил я шепотом. – Дальше смотрим.

Жербунов уважительно кивнул. Мармеладов на сцене говорил:

– Вот. А без этого – знаете сами.
Каждое утро – как кровь на снегу.
Как топором по затылку. Представить
можете это, мой мальчик?
– Могу.
– В душу посмотреть не имею желанья.
Там темнота, как внутри сапога.
Словно бы в узком холодном чулане —
мертвые женщины. Страшно?
– Ага. Что вы хотите? В чем цель разговора?
– Прямо так сразу?
– Валяйте скорей.
– Может, сначала по рюмке ликера?
– Вы надоедливы, как брадобрей.
Я ухожу.
– Милый мальчик, не злитесь.
– Мне надоел наш слепой разговор.
Может быть, вы наконец объяснитесь?
Что вы хотите?
– Продайте топор...

Я тем временем оглядывал зал. За круглыми столиками сидело по трое-четверо человек; публика была самая разношерстная, но больше всего было, как это всегда случается в истории человечества, свинорылых спекулянтов и дорого одетых блудей. За одним столиком с Брюсовым сидел заметно потолстевший с тех пор, как я его последний раз видел, Алексей Толстой с большим бантом вместо галстука. Казалось, выросший на нем жир был выкачан из скелетоподобного Брюсова. Вместе они выглядели жутко.

Я перевел глаза и заметил за одним из столиков странного человека в перехваченной ремнями черной гимнастерке, с закрученными вверх усами. Он был за столиком один, и вместо чайника перед ним стояла бутылка шампанского. Я решил, что это какой-то крупный большевистский начальник; не знаю, что показалось мне необычным в его волевом спокойном лице, но я несколько секунд не мог оторвать от него глаз. Он поймал мой взгляд, и я сразу же отвернулся к эстраде, где продолжался бессмысленный диалог:

– ...Что? Да зачем?
– Это мне для работы.
Символ одной из сторон бытия.

Вы, если надо, другой украдете.
Краденым правильней, думаю я?
– Так... А я думаю – что за намеки?
Вы ведь там были? За ширмой? Да?
– Знаете, вы, Родион, неглубоки,
хоть с топором. Впрочем, юность всегда
видит и суть и причину в конечном,
хочет простого – смеяться, любить,
нежно играет с петлею подплечной.
Сколько хотите?
– Позвольте спросить,
вам для чего?
– Я твержу с первой фразы —
сила, надежда, Грааль, эгрегор,
вечность, сияние, лунные фазы,
лезвие, юность... Отдайте топор.
– Мне непонятно. Но впрочем, извольте.
– Вот он... Сверкает, как пламя меж скал...
Сколько вам?
– Сколько хотите.
– Довольно?
– Десять... Пятнадцать... Ну вот, обокрал.
Впрочем, я чувствую, дело не в этих
деньгах. Меняется что-то... Уже
рушится как бы... Настигло... И ветер
холодно дует в разъятой душе.
Кто вы? Мой Бог, да вы в маске стоите!
Ваши глаза – как две желтых звезды!
Как это подло! Снимите!

Мармеладов выдержал долгую и страшную паузу.

– Снимите!

Мармеладов одним движением сорвал маску, и одновременно с его тела слетел привязанный к маске хитон, обнажив одетую в кружевные панталоны и бюстгальтер женщину в серебристом парике с мышинной косичкой.

– Боже... Старуха... А руки пусты...

Раскольников произнес эти слова еле слышно и рухнул на пол с высоты своих котурнов.

То, что началось дальше, заставило меня побледнеть. На сцену выскочили два скрипача и бешено заиграли какой-то цыганский мотив (опять Блок, подумал я), а женщина-Мармеладов набросила на упавшего Раскольникова свой хитон, прыгнула ему на грудь и принялась душить его, возбужденно виляя кружевным задом.

На секунду мне показалось, что происходящее – следствие какого-то чудовищного заговора, и все присутствующие глядят в мою сторону. Я затравленно огляделся, снова встретился взглядом с уатым человеком в черной гимнастерке и вдруг каким-то образом понял,

что он все знает про гибель фон Эрнена – да чего там, знает про меня гораздо более серьезные вещи.

В этот миг я был близок к тому, чтобы вскочить со стула и кинуться прочь, и только чудовищное усилие воли удержало меня на месте. Публика вяло хлопала; некоторые смеялись и показывали пальцами на сцену, но большинство было поглощено своими разговорами и водкой.

Задушив Раскольников, женщина в парике подскочила к краю эстрады и под сумасшедшие звуки двух скрипок принялась выплясывать, задирая голые ноги к потолку и размахивая топором. Четверо в черном, неподвижно простоявшие все действие, подхватили накрытого хитом Раскольникова и понесли его за кулисы. У меня мелькнула догадка, что это цитата из «Гамлета», где в самом конце упоминаются четыре капитана, которым полагалось бы унести мертвого принца; странно, но эта мысль мгновенно привела меня в чувство. Я понял, что происходящее не заговор против меня – подобного никто просто не успел бы подстроить, – а обыкновенный мистический вызов. Сразу же решив принять его, я повернулся к ушедшим в себя матросам.

– Ребята, стоп. Это измена.

Барболин поднял на меня непонимающий взгляд.

– Англичанка гадит, – наугад бросил я.

Видимо, эти слова имели для него какой-то смысл, потому что он сразу потянул с плеча винтовку. Я удержал его.

– Не так, товарищ. Погоди.

На сцене между тем опять появился господин с пилой, сел на табурет и принялся церемонно снимать туфлю. Открыв саквояж, я вынул карандаш и бланк чекистского ордера; заунывные звуки пилы подхватили меня, понесли вперед, и подходящий текст был готов через несколько минут.

– Чего пишешь-то? – спросил Жербунов. – Арестовать кого хочешь?

– Не, – сказал я, – тут если брать, так всех. Мы по-другому сделаем. Ты, Жербунов, приказ помнишь? Нам ведь не только пресечь надо, но и свою линию провести, верно?

– Так, – сказал Жербунов.

– Ну вот, – сказал я, – ты с Барболиным иди за кулисы. А я на сцену сейчас поднимусь и линию проведу. А как проведу, сигнал дам, и вы тогда выходите. Мы им сейчас покажем музыку революции.

Жербунов постучал пальцем по своей чашке.

– Нет, Жербунов, – сказал я твердо, – работать не сможешь.

Во взгляде Жербунова мелькнуло что-то похожее на обиду.

– Да ты что? – прошептал он. – Не доверяешь? Да я... Я за революцию жизнь отдам!

– Знаю, товарищ, – сказал я, – но кокаин потом. Вперед.

Матросы встали и пошли к сцене. Они ступали разлаписто и крепко, словно под ногами у них был не паркет, а кренящаяся палуба попавшего в шторм броненосца; в этот момент я испытывал к ним почти симпатию. Поднявшись по боковой лесенке, они исчезли за кулисами. Я опрокинул в рот остатки ханжи с кокаином, встал и пошел к столику, за которым сидели Толстой и Брюсов. На меня смотрели. Господа и товарищи, думал я, медленно шагая по странно раздвинувшемуся залу, сегодня я тоже имел честь перешагнуть через свою старуху, но вы не задушите меня ее вымышленными ладонями. О, черт бы взял эту вечную достоевщину, преследующую русского человека! И черт бы взял русского человека, который только ее и видит вокруг!

– Добрый вечер, Валерий Яковлевич. Отдыхаете?

Брюсов вздрогнул и несколько секунд глядел на меня, явно не узнавая. Потом на его изможденном лице появилась недоверчивая улыбка.

– Петя? – спросил он. – Это вы? Сердечно рад вас видеть. Присядьте к нам на минуту. Я сел за столик и сдержанно поздоровался с Толстым – мы часто виделись в редакции «Аполлона», но знакомы были плохо. Толстой был сильно пьян.

– Как вы? – спросил Брюсов. – Что-нибудь новое написали?

– Не до этого сейчас, Валерий Яковлевич, – сказал я.

– Да, – задумчиво сказал Брюсов, шныряя быстрыми глазами по моей кожанке и маузеру, – это так. Это верно. Я вот тоже... А я ведь и не знал, Петя, что вы из наших. Всегда ценил ваши стихи, особенно первый ваш сборничек, «Стихи Капитана Лебядкина». Ну и, конечно, «Песни царства «Я». Но ведь и вообразить было нельзя... Все у вас какие-то лошади, императоры, Китай этот...

– Conspiracy, Валерий Яковлевич, – сказал я. – Хотя слово это дико...

– Понимаю, – сказал Брюсов, – теперь понимаю. Хотя всегда, уверяю вас, что-то похожее чувствовал. А вы изменились. Петя. Стали такой стремительный... глаза сверкают... Кстати, вы «Двенадцать» Блока успели прочесть?

– Видел, – сказал я.

– И что думаете?

– Я не вполне понимаю символику финала, – сказал я, – почему перед красногвардейским патрулем идет Христос? Уж не хочет ли Блок распять революцию?

– Да-да, – быстро сказал Брюсов, – вот и мы с Алешей только что об этом говорили.

Услышав свое имя, Толстой открыл глаза, поднял свою чашку, но она была пуста. Нашарив на столе свисток, он поднес его к губам, но, вместо того чтобы свистнуть, опять уронил голову.

– Я слышал, – сказал я, – что он поменял конец. Теперь перед патрулем идет матрос.

Брюсов секунду соображал, а потом его глаза вспыхнули.

– Да, – сказал он, – это вернее. Это точнее. А Христос идет сзади! Он невидим и идет сзади, влача свой покосившийся крест сквозь снежные вихри!

– Да, – сказал я, – и в другую сторону.

– Вы полагаете?

– Я уверен, – сказал я и подумал, что Жербунов с Барболиным уже уснули за шторой. – Валерий Яковлевич, у меня к вам просьба. Не могли бы вы объявить, что сейчас с революционными стихами выступит поэт Фанерный?

– Фанерный? – переспросил Брюсов.

– Мой партийный псевдоним, – пояснил я.

– Да, да, – закивал Брюсов, – и как глубоко! С наслаждением послушаю сам.

– А вот этого не советую. Вам лучше сразу же уйти. Сейчас здесь стрельба начнется.

Брюсов побледнел и кивнул. Больше мы не сказали ни слова; когда пила стихла и фрачник надел свою туфлю, Брюсов встал и поднялся на эстраду.

– Сегодня, – сказал он, – мы уже говорили о новейшем искусстве. Сейчас эту тему продолжит поэт Фанерный (он не удержался и закатил глаза) – хмм... прошу не путать с тигром бумажным и солдатиком оловянным... хмм... поэт Фанерный, который выступит с революционными стихами. Прошу!

Он быстро спустился в зал, виновато улыбнулся мне, развел руками, подхватил слабо сопротивляющегося Толстого и поволок его к выходу; в этот момент он был похож на отставного учителя, тянущего за собой на поводке непослушного и глупого волкодава.

Я поднялся на эстраду. На ее краю стоял забытый бархатный табурет, что было очень кстати. Я поставил на него сапог и взгляделся в притихший зал. Все лица, которые я видел, как бы сливались в одно лицо, одновременно заискивающее и наглое, замершее в гримасе подбострастного самодовольства – и это, без всяких сомнений, было лицо старухи-процентщицы, развоплощенной, но по-прежнему живой. Недалеко от эстрады сидел Иоанн Пав-

лухин, длинноволосый урод с моноклем; рядом с ним жевала пирожок прыщавая толстуха с огромными красными бантами в пегих волосах – кажется, это и была комиссар театров мадам Малиновская. Как я ненавидел их всех в эту долгую секунду!

Я вынул из кобуры маузер, поднял его над головой, откашлялся и в своей прежней манере, без выражения глядя вперед и никак совершенно не интонируя, только делая короткие паузы между катернами, прочел стихотворение, которое написал на чекистском бланке:

– Реввоенсонет.

Товарищи бойцы! Наша скорбь безмерна.
Злодейски убит товарищ Фанерный.
И вот уже нет у нас в ЧК
Старейшего большевика.

Дело было так. Он шел с допроса
и остановился зажечь папиросу,
когда контрреволюционный офицер
вынул пистолет и взял его на прицел.

Товарищи! Раздался гулкий выстрел из маузера,
и пуля ужалила товарища Фанерного в лоб.
Он потянул было руку за пазуху,
покачнулся, закрыл глаза и на землю хлоп.

Товарищи бойцы! Сплотим ряды, споем что-нибудь хором
И ответим белой сволочи революционным террором!

С этими словами я выстрелил в люстру, но не попал.

Но сразу же справа от меня раздался другой выстрел, люстра лопнула, и я увидел рядом с собой передергивающего затвор Жербунова. Он с колена дал еще несколько выстрелов в зал, где уже кричали, падали на пол и прятались за колоннами, а потом из-за кулис вышел Барболин. Пошатываясь, он подошел к краю эстрады, завизжал и швырнул в зал бомбу. В зале полыхнуло белым огнем, страшно грохнуло, опрокинулся стол, и в наступившей тишине кто-то удивленно охнул. Возникла неловкая пауза; чтобы хоть как-то заполнить ее, я несколько раз выстрелил в потолок и вдруг опять увидел странного человека в темной гимнастерке, который невозмутимо сидел за своим столом, прихлебывал из чашки и, кажется, улыбался. Я почувствовал себя глупо.

Жербунов еще раз пальнул в зал.

– Прекратить! – крикнул я.

Жербунов пробормотал что-то вроде «мал ты мне указывать», но все же закинул винтовку за плечо.

– Уходим, – сказал я, повернулся и пошел за кулисы.

Какие-то люди, стоявшие за ними, при нашем появлении кинулись в разные стороны. Мы с Жербуновым прошли по темному коридору, несколько раз повернули и, открыв дверь черного хода, оказались на улице, где от нас опять шарахнулись. Мы пошли к автомобилю. Морозный чистый воздух после духоты прокуренного зала подействовал на меня, как пары эфира – закружилась голова и смертельно захотелось спать. Шофер, покрытый толстым слоем снега, все так же неподвижно сидел на переднем сиденье. Я открыл дверь в кабину и обернулся.

– А где Барболин? – спросил я.

– Сейчас, – ухмыляясь, сказал Жербунов, – дело одно.

Я залез в автомобиль, откинулся на сиденье и мгновенно уснул.

Меня разбудил женский визг, и я увидел Барболина, который на руках нес из переулка картинно отбивающуюся девицу в кружевных штанишках и съехавшем на бок парике с косичкой.

– Подвинься, товарищ, – сказал мне Жербунов, залезая в кабину, – пополнение.

Я подвинулся к стене. Жербунов наклонился ко мне и сказал с неожиданной теплотой в голосе:

– А я ведь тебя сначала не понял, Петька. Душу твою не увидел. А ты молодец. Хорошую речь сказал.

Я что-то пробормотал и опять уснул.

Сквозь сон до меня доносился женский хохот и скрип тормозов, угрюмый мат Жербунова и змеиное шипение Барболина – кажется, они спорили из-за этой несчастной. Потом автомобиль остановился. Я поднял голову и увидел перед собой расплывающееся и неправдоподобное лицо Жербунова.

– Спи, Петька, – гулко сказало лицо, – мы здесь выйдем. Нам с кумом поговорить надо. А тебя Иван довезет.

Я выглянул в окно. Мы стояли на Тверском бульваре, возле дома градоначальника. Медленно падал крупный снег. Барболин и дрожащая полуголая женщина были уже на улице. Жербунов пожал мне руку и вылез. Машина тронулась.

Я вдруг остро ощутил свое одиночество и незащищенность в этом мерзлом мире, жители которого норовят отправить меня на Гороховую или смутить мою душу чарами темных слов. Завтра утром, подумал я, надо будет пустить себе пулю в лоб. Последним, что я увидел перед тем, как окончательно провалиться в черную яму беспамятства, была покрытая снегом решетка бульвара – когда автомобиль разворачивался, она оказалась совсем близко к окну.

2

Собственно, решетка была не близко к окну, а на самом окне, еще точнее – на маленькой форточке, сквозь которую мне прямо в лицо падал узкий луч солнца. Я захотел отстраниться, но мне это не удалось – когда я попытался опереться о пол рукой, чтобы повернуться с живота на спину, оказалось, что мои руки скручены. На мне было похожее на саван одеяние, длинные рукава которого были связаны за спиной – кажется, такая рубашка называется смирительной.

У меня не было особых сомнений относительно происшедшего – видимо, матросы заметили в моем поведении что-то подозрительное и, когда я заснул в машине, отвезли меня в ЧК. Извиваясь всем телом, я ухитрился встать на колени, а потом сесть у стены. Моя камера имела довольно странный вид – высоко под потолком была зарешеченная форточка, сквозь которую в комнату падал разбудивший меня луч. Стены, дверь, пол и потолок были скрыты под толстым слоем мягкой обивки, так что романтическое самоубийство в духе Дюма («еще один шаг, милорд, и я разобью голову о стену») исключалось. Видимо, чекисты завели такие камеры для особо почетных посетителей, и, должен признаться, на секунду мне это польстило.

Прошло несколько минут, в течение которых я глядел в стену, вспоминая пугающие подробности вчерашнего дня, а затем дверь растворилась.

На пороге стояли Жербунов и Барболин – но, Боже мой, в каком виде! На них были белые халаты, а у Барболина из кармана торчал самый настоящий стетоскоп. Это было намного больше, чем я мог вместить, и из моей груди вырвался нервный смех, который обоженное кокаином горло превратило в подобие сиплого кашля. Барболин, стоявший впереди, повернулся к Жербунову и что-то тихо сказал. Я вдруг перестал смеяться – отчего-то мне показалось, что они собираются меня бить.

Надо сказать, что я совершенно не боялся смерти; умереть в моей ситуации было так же естественно и разумно, как покинуть театр, запылавший во время бездарного спектакля. Но чего мне не хотелось никак, так это чтобы в окончательное путешествие меня провожали пинки и оплеухи малознакомых людей – видимо, в глубине души я не был в достаточной мере христианином.

– Господа, – сказал я, – вы, я полагаю, понимаете, что вас тоже скоро убьют. Так вот, из уважения к смерти – если даже не к моей, то хотя бы к своей собственной – прошу вас, сделайте это быстро и без издевательств. Я все равно ничего не смогу вам сообщить. Я, видите ли, частное лицо, и...

– Это что, – с ухмылкой перебил меня Жербунов. – Вот что ты вчера выдавал, это да. А какие стихи читал! Хоть сам-то помнишь?

В его манере говорить была какая-то несообразность, что-то неопределимо странное, и я решил, что он уже побаловался с утра своим балтийским чаем.

– У меня превосходная память, – ответил я и посмотрел ему прямо в глаза.

Его взгляд был несокрушимо пуст.

– Да что ты с этим мудаком разговариваешь, – тонко просипел Барболин. – Пускай Тимурыч разбирается, ему за это деньги платят.

– Пойдем, – подытожил Жербунов, подошел и взял меня под руку.

– Нельзя ли развязать мне руки? – спросил я. – Вас ведь двое.

– Да? – спросил Жербунов. – А вдруг ты душишь начнешь?

От этих слов я покачнулся, как от удара. Они все знали. У меня возникло почти что физическое чувство того, как слова Жербунова наваливаются на меня невыносимой тяжестью.

Барболин подхватил меня под другую руку; они легко поставили меня на ноги и выволокли в пустой полутемный коридор, где действительно пахло чем-то медицинским – может быть, кровью. Я не сопротивлялся, и через несколько минут они втолкнули меня в просторную комнату, усадили на табурет в ее центре и исчезли за дверью.

Прямо напротив меня стоял большой письменный стол, заваленный множеством папок канторского вида. За столом сидел интеллигентного вида господин в белом халате, таком же, как на Жербунове и Барболине, и внимательно слушал черную эбонитовую трубку телефонного аппарата, прижимая ее к уху плечом. Его руки механически перебирали какие-то бумаги; время от времени он кивал головой, но вслух ничего не говорил. На меня он не обратил ни малейшего внимания. Еще один человек в белом халате и зеленых штанах с красными лампасами сидел на стуле у стены, между двумя высокими окнами, на которые были спущены пыльные портьеры.

Что-то неуловимое в обстановке этой комнаты заставило меня вспомнить Генеральный штаб, где я часто бывал в шестнадцатом году, пробуя себя на ниве патриотической журналистики. Вот только над головой господина в белом халате вместо портрета Государя (или хотя бы этого Карла, уже успевшего украсть кораллы у половины Европы) висело нечто настолько жуткое, что я закусил губу.

Это был выдержанный в цветовой гамме российского флага плакат на большом куске картона. Он изображал синего человека с обычным русским лицом, рассеченной грудью и спиленной крышкой черепа, под которой краснел открытый мозг. Несмотря на то что его внутренности были вынуты из живота и пронумерованы латинскими цифрами, в его глазах сквозило равнодушие, а на лице застыла спокойная полуулыбка – или, может быть, так казалось из-за широкого разреза на щеке, сквозь который была видна часть челюсти и зубы, безупречные, как на рекламе германского зубного порошка.

– Ну давай, – буркнул господин в халате и бросил трубку на рычаг.

– Простите? – сказал я, опуская на него глаза.

– Прощаю, прощаю, – сказал он. – Имея некоторый опыт общения с вами, напомню, что мое имя – Тимур Тимурович.

– Петр. По понятным причинам не могу пожать вам руки.

– Это и не требуется. Эх, Петр, Петр. Как же вы дошли до жизни такой?

Его глаза смотрели на меня дружелюбно и даже с некоторым сочувствием; борода клинышком делала его похожим на земского идеалиста, но я многое знал о чекистских ухватках, и в моей душе не мелькнуло даже тени доверия.

– Ни до какой особенной жизни я не доходил, – сказал я. – А уж если вы так ставите вопрос, то дошел вместе с другими.

– Это с кем же именно?

Так, подумал я, началось.

– Вы, видимо, ждете от меня каких-то адресов и явок, правильно я вас понимаю? Но поверьте, мне совершенно нечем вас обрадовать. Моя история с самого детства – это рассказ о том, как я бегу от людей, а в этом контексте о других следует говорить только категорично, понимаете?

– Разумеется, – сказал он и что-то записал на бумажку. – Без всяких сомнений. Но в ваших словах противоречие. Сначала вы говорите, что дошли до своего нынешнего состояния вместе с другими, а затем – что бежите от людей.

– Помилуйте, – ответил я, не без риска для равновесия закидывая ногу за ногу, – противоречие только кажущееся. Чем сильнее я пытаюсь избежать общества людей, тем меньше мне это удастся. Кстати говоря, причину я понял только недавно – шел мимо Исакия, поглядел на купол – знаете, ночь, мороз, звезды... да... и стало ясно.

– И в чем причина?

– Да в том, что если пытаешься убежать от других, то поневоле всю жизнь идешь по их зыбким путям. Уже хотя бы потому, что продолжаешь от них убегать. Для бегства нужно твердо знать не то, куда бежишь, а откуда. Поэтому необходимо постоянно иметь перед глазами свою тюрьму.

– Да, – сказал Тимур Тимурович. – Да. Когда я представляю себе, сколько с вами будет возни, мне становится страшно.

Я пожал плечами и поднял глаза на плакат над его головой. Все же, видимо, это была не гениальная метафора, а какое-то медицинское пособие. Может быть, часть анатомического атласа.

– Вы знаете, – продолжил Тимур Тимурович, – я ведь человек опытный. Через меня очень много народу тут проходит.

– О, не сомневаюсь, – сказал я.

– И вот что я вам скажу. Меня не столько интересует формальный диагноз, сколько та внутренняя причина, по которой человек выпадает из своей нормальной социально-психической ниши. И, как мне кажется, ваш случай очень прозрачный. Вы просто не принимаете нового. Вы помните, сколько вам лет?

– Разумеется. Двадцать шесть.

– Ну вот видите. Вы как раз принадлежите к тому поколению, которое было запрограммировано на жизнь в одной социально-культурной парадигме, а оказалось в совершенно другой. Улавливаете, о чем я говорю?

– Еще бы, – ответил я.

– Таким образом, налицо серьезный внутренний конфликт. Хочу сразу вас успокоить – с этим сталкиваетесь не вы один. И у меня самого имеется подобная проблема.

– Вот как? – спросил я с несколько издевательской интонацией. – И как же вы ее решаете?

– Обо мне потом, – сказал он, – давайте сначала разберемся с вами. Как я уже сказал, этот подсознательный конфликт есть сейчас практически у каждого. Я хочу, чтобы вы осознали его природу. Понимаете ли, мир, который находится вокруг нас, отражается в нашем сознании и становится объектом ума. И когда в реальном мире рушатся какие-нибудь устоявшиеся связи, то же самое происходит и в психике. При этом в замкнутом объеме вашего «Я» высвобождается чудовищное количество психической энергии. Это как маленький атомный взрыв. Но все дело в том, в какой канал эта энергия устремляется после взрыва.

Разговор становился любопытным.

– А какие, позвольте спросить, бывают каналы?

– Ну, если говорить грубо, их два. Психическая энергия может двигаться, так сказать, наружу, во внешний мир, устремляясь к таким объектам как... ну, скажем, кожаная куртка, роскошный автомобиль и так далее. Многие ваши сверстники...

Я вспомнил фон Эрнена и вздрогнул.

– Я понял. Не продолжайте.

– Прекрасно. А во втором случае эта энергия по той или иной причине остается внутри. Это самое неблагоприятное развитие событий. Представьте себе быка, запертого в музейном зале...

– Прекрасный образ.

– Спасибо. Так вот, этот зал с его хрупкими и, возможно, прекрасными экспонатами и есть ваша личность, ваш внутренний мир. А бык, который по нему мечется, – это высвободившаяся психическая энергия, с которой вы не в силах совладать. Та причина, по которой вы здесь.

Он определенно умен, подумал я. Но какой подлец.

– Я вам скажу больше, – продолжал Тимур Тимурович. – Я много думал о том, почему одни люди оказываются в силах начать новую жизнь – условно назовем их новыми русскими, хотя я недолюбливаю это выражение...

– Действительно, на редкость гадкое. К тому же перевернутое. Если вы цитируете Чернышевского, то он, кажется, называл их новыми людьми.

– Возможно. Но вопрос, тем не менее, остается – почему одни устремляются, так сказать, к новому, а другие так и остаются выяснять несуществующие отношения с тенями угасшего мира...

– А вот это великолепно. Почти Бальмонт.

– Еще раз спасибо. Ответ, на мой взгляд, очень прост. Боюсь даже, что вам он покажется примитивным. Начну издалека. В жизни человека, страны, культуры и так далее постоянно происходят метаморфозы. Иногда они растянуты во времени и незаметны, иногда принимают очень резкие формы – как сейчас. И вот именно отношение к этим метаморфозам определяет глубинную разницу между культурами. Например, Китай, от которого вы без ума...

– С чего вы это взяли? – спросил я, чувствуя, как за моей спиной сжимаются туго стянутые рукавами кулаки.

– Так вот же ваше дело, – сказал Тимур Тимурович, поднимая со стола самую толстую папку. – Как раз его перелистывал.

Он бросил папку назад.

– Да, Китай. Если вы вспомните, то все их мировосприятие построено на том, что мир деградирует, двигаясь от некоего золотого века во тьму и безвременье. Для них абсолютный эталон остался в прошлом, и любые новшества являются злом в силу того, что уводят от этого эталона еще дальше.

– Простите, – сказал я, – это вообще свойственно человеческой культуре. Это присутствует даже в языке. Например, в английском. Мы, что называется, *descendants of the past*¹. Это слово обозначает движение вниз, а не подъем. Мы не *ascendants*².

– Возможно, – сказал Тимур Тимурович. – Из иностранных я знаю только латынь. Но важно здесь другое. Когда такой тип сознания воплощается в отдельной личности, человек начинает воспринимать свое детство как некий потерянный рай. Возьмите хотя бы Набокова. Эта его бесконечная рефлексия по поводу первых лет жизни – классический пример того, о чем я говорю. И классический пример выздоровления, переориентации сознания на реальный мир – это та, я бы сказал, контрсублимация, которую он мастерски осуществил, трансформировав свою тоску по недостижимому и, может быть, никогда не существовавшему раю в простую, земную и немного грешную страсть к девочке-ребенку. Хотя с первого...

– Простите, вы о каком Набокове? – перебил я. – О лидере конституционных демократов?

Тимур Тимурович с подчеркнутым терпением улыбнулся.

– Нет, – сказал он, – я о его сыне.

– Это о Вовке из Тенишевского? Вы что, его тоже взяли? Но ведь он же в Крыму! И при чем тут девочки? Что вы несете?

– Хорошо, хорошо. В Крыму, – сказал Тимур Тимурович. – В Крыму. Мы говорили не о Крыме, а о Китае. И речь у нас шла о том, что для классической китайской ментальности любое движение вперед будет деградацией. А есть другой путь – тот, по которому всю свою историю идет Европа, что бы вы там ни говорили о языке. Тот путь, на который уже столько лет пытается встать Россия, вновь и вновь совершая свой несчастный алхимический брак с Западом.

¹ to descend – слушаться, descendants – потомки (англ.).

² to ascend – подниматься, ascendants – предки (англ.).

– Замечательно.

– Спасибо. Здесь идеал мыслится не как оставшийся в прошлом, а как потенциально существующий в будущем. И это сразу же наполняет существование смыслом. Понимаете? Это идея развития, прогресса, движения от менее совершенного к более совершенному. То же самое происходит на уровне отдельной личности, даже если этот индивидуальный прогресс принимает такие мелкие формы, как, скажем, ремонт квартиры или смена одного автомобиля другим. Это дает возможность жить дальше. А вы не хотите платить за это «дальше». Метафорический бык, о котором мы говорили, носится по вашей душе, сокрушая все на своем пути, именно потому, что вы не готовы отдаться реальности. Вы не хотите выпустить быка на свободу. Вы презираете те позы, которые время повелевает нам принять. И именно в этом причина вашей трагедии.

– Все, что вы говорите, конечно, интересно, но слишком запутанно, – сказал я, покосившись на военного у стены. – И потом, у меня затекли руки. А что касается прогресса, то я могу вам коротко объяснить, что это такое на самом деле.

– Сделайте милость.

– Очень просто. Если сказать все то, о чем вы говорили, короче, то выйдет, что некоторые люди приспособляются к переменам быстрее, чем другие, и все. А вы когда-нибудь задавались вопросом, почему эти перемены вообще происходят?

Тимур Тимурович пожал плечами.

– Так я вам скажу. Вы, надеюсь, не будете спорить с тем, что чем человек хитрее и бессовестнее, тем легче ему живется?

– Не буду.

– А легче ему живется именно потому, что он быстрее приспособляется к переменам.

– Допустим.

– Так вот, существует такой уровень бессовестной хитрости, милостивый государь, на котором человек предугадывает перемены еще до того, как они произошли, и благодаря этому приспособляется к ним значительно быстрее всех прочих. Больше того, самые изощренные подлецы приспособляются к ним еще до того, как эти перемены происходят.

– Ну и что?

– А то, что все перемены в мире происходят исключительно благодаря этой группе наиболее изощренных подлецов. Потому что на самом деле они вовсе не предугадывают будущее, а формируют его, переползая туда, откуда, по их мнению, будет дуть ветер. После этого ветру не остается ничего другого, кроме как действительно подуть из этого места.

– Почему это?

– Ну как же. Я же ведь вам объяснил, что говорю о самых гнусных, пронырливых и бесстыдных подлецах. Так неужели вы думаете, что они не сумеют убедить всех остальных, что ветер дует именно оттуда, куда они переползли? Тем более, что ветер, о котором идет речь, дует только внутри этой идиомы... Но я что-то слишком долго говорю. По правде сказать, я был намерен молчать до самого расстрела.

Военный у стены крякнул и со значением посмотрел на Тимура Тимуровича.

– Я вас не познакомил, – сказал Тимур Тимурович. – Это полковник Смирнов, военный психиатр. Он здесь по другому поводу, но вашим случаем тоже заинтересовался.

– Очень польщен, полковник, – сказал я, наклоняя голову.

Тимур Тимурович наклонился над телефоном и нажал какую-то кнопку.

– Сонечка, пожалуйста, четыре кубика, как обычно, – сказал он в трубку. – Прямо у меня, пока он в рубашке. Да, а потом сразу в палату.

Повернувшись ко мне, Тимур Тимурович сокрушенно вздохнул и почесал бороду.

– Пока нам придется продолжить фармакологический курс, – сказал он. – Я вам скажу честно, что рассматриваю это как свое поражение – пусть маленькое, но все же поражение.

Я считаю, что хороший психиатр должен избегать лекарств – они... Ну как это вам объяснить... Как косметика. Не решают проблем, а только прячут их от постороннего глаза. Но в вашем случае не могу придумать ничего другого. Вы должны сами прийти мне на помощь. Ведь чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку – надо, чтобы он в ответ подал свою.

Сзади открылась дверь, и я услышал тихие шаги за спиной. Мягкие женские пальцы взяли меня за плечо, и я почувствовал, как холодное маленькое жало, пройдя сквозь ткань смирительной рубашки, впилося мне в кожу.

– Кстати, – зябко потирая руки, сказал Тимур Тимурович, – хочу заметить, что на дурдомовской фене расстрелом называют не то, что мы колем вам – то есть обычную смесь аминазина с перепитином, а так называемый сульфазинный крест, то есть четыре инъекции в... Впрочем, надеюсь, что до этого у нас не дойдет.

Я не повернул головы, чтобы посмотреть на женщину, делавшую мне укол. Я глядел на расчлененного сине-красно-белого человека на плакате, и когда он тоже начал глядеть на меня, улыбаться и подмигивать, откуда-то издали донесся голос Тимура Тимуровича:

– Да, прямо в палату. Нет, мешать он не будет. Все-таки какое-то воздействие... Он ведь и сам скоро будет сидеть на этом стуле.

Чьи-то руки (кажется, это опять были Жербунов и Барболин) сдернули с меня рубашку, подняли за руки и, как мешок с песком, переложили на что-то вроде носилок. Затем перед моими глазами мелькнул дверной косяк, и мы оказались в коридоре.

Мое онемевшее тело перемещалось вдоль высоких белых дверей с номерами, а сзади раздавались искаженные голоса и смех переодетых матросов – кажется, они бесстыдно обсуждали женщин. Потом я увидел склоненное надо мной лицо Тимура Тимуровича – оказывается, он шел рядом.

– Вы, Петр, конечно, не Пушкин, но все же мы решили вернуть вас в третье отделение, – сказал он и довольно засмеялся. – Там сейчас еще четыре человека, так что с вами будет пять. Вы знаете, что такое групповая терапия по профессору Канашникову? То есть по мне?

– Нет, – с трудом промычал я.

Мелькание дверей перед глазами стало непереносимым, и я закрыл глаза.

– Говоря по-простому, это совместная борьба больных за выздоровление. Представьте себе, что ваши проблемы на время становятся коллективными, то есть каждый из участников сеанса в течение некоторого срока разделяет ваше состояние. Так сказать, отождествляется с вами. Как вы думаете, к чему это приведет?

Я молчал.

– Очень просто, – продолжал Тимур Тимурович. – После того как сеанс заканчивается, возникает эффект отдачи – совместный выход участников из состояния, только что переживавшегося ими как реальность. Это, если хотите, использование свойственного человеку стадного чувства в медицинских целях. Те, кто участвует в сеансе вместе с вами, могут проникнуться вашими идеями и настроениями на некоторое время, но, как только сеанс кончается, они возвращаются к своим собственным маниям, оставляя вас в одиночестве. И в эту секунду – если удастся достичь катарсического выхода патологического психоматериала на поверхность – пациент может сам ощутить относительность своих болезненных представлений и перестать отождествляться с ними. А от этого до выздоровления уже совсем близко.

Я слабо понимал смысл его слов – если допустить, что он был. Но кое-что все же застревало в моем сознании. Укол действовал все сильнее – я уже ничего не видел вокруг, мое тело практически потеряло чувствительность, а душа погрузилась в тяжелое и тупое безразличие. Самым неприятным в нем было то, что оно словно бы овладело не мной, а

каким-то другим человеком, в которого меня превратил впрыснутый мне препарат. А этого другого человека, как я с ужасом ощутил, и в самом деле можно было вылечить.

– Конечно, можно, – подтвердил Тимур Тимурович. – И вылечим, не сомневайтесь. Вообще, гоните от себя само это понятие – «сумасшедший дом». Воспринимайте это просто как интересное приключение. Тем более что вы литератор. Я тут порой такое слышу, что прямо тянет записать. Вот сейчас, например. В вашей палате будет крайне интересное событие – групповой сеанс с Марией. Вы ведь помните, о ком я говорю?

Я отрицательно покачал головой.

– Ну конечно, конечно, – сказал он. – Все равно случай весьма интересный. Я бы сказал, просто-таки шекспировская психодрама. Столкновение таких разных на первый взгляд объектов сознания, как мексиканская мыльная опера, голливудский блокбастер и неокрепшая русская демократия. Знаете эти мексиканские телесериалы «Просто Мария»? Тоже не помните? Понятно. Короче, считает себя героиней, этой самой Марией. Было бы самым банальным случаем, если бы не подсознательное отождествление с Россией плюс комплекс Агамемнона с анальной динамикой. Короче, прямо по моему профилю – раздвоение ложной личности.

О боже, подумал я, какие длинные у них коридоры.

– Вы, конечно, будете не в состоянии принять полноценное участие в сеансе, – продолжал голос Тимура Тимуровича, – так что можете спать. Но не забывайте, что в скором времени вам предстоит стать рассказчиком самому.

Кажется, мы въехали в какую-то комнату – заскрипела дверь, и я услышал обрывок смолкшего разговора. Тимур Тимурович поздоровался с темнотой, и ему ответило несколько голосов. Меня тем временем переложили на невидимую кровать, подоткнули под мою голову подушку и накинули сверху одеяло. Некоторое время я прислушивался к долетавшим до меня фразам (Тимур Тимурович объяснял каким-то людям, почему меня так долго не было), а потом полностью отключился от происходящего, потому что меня посетила одна чрезвычайно знаменательная галлюцинация личного характера.

Не знаю, сколько времени я провел наедине с совестью – в какой-то момент мое внимание привлек монотонный голос Тимура Тимуровича.

– Внимательно глядите на этот шарик, Мария. Вы совершенно спокойны. Если вы ощущаете во рту сухость, это объясняется действием введенного вам препарата и скоро пройдет. Вы слышите меня?

– Да, – ответил голос, который показался мне больше похожим на высокий мужской, чем на низкий женский.

– Кто вы?

– Мария, – ответил голос.

– Как ваша фамилия?

– Просто Мария.

– Сколько вам лет?

– Дают восемнадцать, – ответил голос.

– Вы знаете, где вы находитесь?

– Знаю. В больнице.

– А почему вы здесь оказались?

– От удара, почему же еще. Непонятно, как я вообще в живых осталась. Я и подумать не могла, что он такой человек.

– Обо что же вы ударились?

– Об Останкинскую телебашню.

– Вот как. А как это произошло?

– Долго рассказывать.

– Ничего, – сказал Тимур Тимурович ласково, – мы не спешим никуда. Вы расскажите, а мы слушаем. С чего все началось?

– Началось с того, что я пошла погулять по набережной.

– А где вы были до этого?

– До этого я нигде не была.

– Хорошо, продолжайте.

– Ну чего. Иду я, значит, иду – а вокруг дым какой-то. И чем дальше иду, тем его больше...

Я вдруг заметил, что чем дальше я вслушиваюсь в долетающие до меня слова, тем тяжелее доходит до меня их смысл. Было такое ощущение, что этот смысл привязан к ним на веревках и эти веревки становятся все длиннее и длиннее. Я не успевал за разговором, но это было неважно, потому что одновременно я стал видеть некое подобие зыбкой картинки – набережную, затянутую клубами дыма, и идущую по ней женщину с широкими мускулистыми плечами, больше похожую на переодетого мужика. Я знал, что ее зовут Мария, и мог одновременно видеть ее и смотреть на мир ее глазами. В следующую минуту я понял, что каким-то образом воспринимаю все ее мысли и чувства: думала она о том, что, как ни крути, прогулка не получается, потому что солнечное утро, в самом начале которого она появилась в страдающем мире, сменилось черт знает чем. И произошло это так плавно, что она даже не заметила, как это случилось.

Сначала в воздухе запахло гарью, и Мария решила, что где-то жгут опавшие листья. Потом к этому запаху примешалась вонь горелой резины, а дальше на нее стали наплывать волны похожего на туман дыма, который становился гуще и гуще, пока не скрыл вокруг все, кроме чугунного ограждения набережной и нескольких метров окружающего пространства.

Вскоре Марии стало казаться, что она идет по длинному залу художественной галереи – сегменты окружающего мира, которые время от времени появлялись из окутавшей мир мглы, своей затасканной обыденностью очень походили на объекты актуального искусства. Ей навстречу выплывали таблички с надписью «обмен валюты», изрезанные перочинными ножами скамейки и огромное количество пустых банок, свидетельствовавших о том, что новое поколение в своей массе выбирает все-таки пиво.

Из дыма выныривали и опять ныряли в него какие-то беспокойные люди с автоматами в руках. Они делали вид, что не замечают Марию, и она платила им тем же. И без них было достаточно тех, кто помнил и думал о ней. Сколько их было – миллионы? Десятки миллионов? Мария точно не знала их числа, но была уверена, что если бы все сердца, в которых ее прописала судьба, ударили бы в унисон, то их слившийся шум оказался бы гораздо громче, чем оглушительные взрывы за рекой.

Мария оглянулась и сощурила свои лучистые глаза, пытаясь понять, в чем дело.

Где-то неподалеку – где именно, видно не было из-за дыма – время от времени раздавался грохот, и вслед за каждым его раскатом доносился собачий лай и шум множества голосов, как бывает на стадионе после гола. Мария не знала, что думать по этому поводу – может быть, за рекой снимали кино, может быть, новые русские разбирались, кто из них самый новый. Поскорей бы уж поделили все, подумала она со вздохом, а то сколько еще молодых красивых ребят упадет на асфальт и зальет его кровью из пробитого сердца.

Мария стала думать о том, как облегчить невыносимое бремя этой жизни всем тем, кто Бог знает зачем корчится сейчас в черных клубах дыма, закрывших небо и солнце. Ей в голову приходили ясные, светлые, незамысловатые образы – вот она, в простом платье, входит в скромную квартиру, прибранную для такого случая хозяевами. А вот и сами хозяева – сидят за столом возле самовара и влюбленно смотрят на нее, и она знает, что ничего

не нужно говорить, нужно просто сидеть напротив и ласково смотреть на них, по возможности не обращая внимания на стрекочущую камеру. Или так: больничная палата, перебинтованные люди, лежащие на неудобных койках, и ее изображение, висящее на стене в таком месте, чтобы видно было всем – с коек смотрят на нее и на время забывают о своих бедах и болях...

Все это было прекрасно, но она смутно понимала, что этого недостаточно – нет, в этом мире нужна была сила, суровая и непреклонная, способная, если надо, противостоять злу. Но где взять эту силу? И какой она должна быть? Мария не знала ответа на эти вопросы, но чувствовала, что именно для этого она и идет сейчас по набережной в этом источающем страдание городе.

Порыв ветра на секунду разогнал окруживший ее дым, и на Марию упал солнечный луч. Она заслонила от него ладонью и вдруг поняла, где искать ответ – конечно же, он был в тех бесчисленных сердцах и умах, которые призывали ее сюда и заставили воплотиться на этой дымной набережной. Все они как бы сливались в один океан сознания, через миллионы глаз глядящий на телеэкран, и весь этот океан был открыт ее взору. Она оглядела его и сначала не увидела ничего, что могло бы помочь. Нет, конечно, в этом океане сознания была представлена всепобеждающая сила, и в большинстве случаев – примерно одинаково, так, что складывался некий общий образ: молодой человек с небольшой головой и широкими плечами, в двубортном малиновом пиджаке, стоящий, широко расставив ноги, у длинного приземистого автомобиля. Этот автомобиль был очень смутным и как бы размазанным в воздухе, потому что все те, чьи души видела Мария, представляли на его месте разные модели. То же касалось и лица молодого человека – оно было очень приблизительным, только прическа, чуть кудрявый каштановый ежик, получилась немного четче. Зато пиджак прорисовался с чрезвычайной отчетливостью, и можно было бы даже, чуть напрягшись, прочесть надписи на золотых пуговицах. Но Мария не стала этого делать. Дело ведь было не в том, что написано на пуговицах, а в том, как эту всепобеждающую силу соединить с ее кроткой любовью.

Мария остановилась и оперлась на одну из гранитных тумб, разделявших чугунные решетки ограды. Нужно было снова искать ответ в доверившихся ей умах и душах, но в этот раз – Мария знала это совершенно точно – усредненные мысли не годились. Надо было...

«Должна же там быть хоть одна умная баба», – подумала она.

И эта умная баба почти сразу нашлась. Мария не знала, как ее зовут, кто она и даже как она выглядит – мелькнули только на секунду высокие книжные шкафы, заваленный бумагами стол с пишущей машинкой и висящая над ним фотография человека с чудовищными вьющимися усами и мрачным взглядом – все это было дрожащим, искривленным и черно-белым, словно Мария видела это изнутри совсем старого телевизора с экраном не больше сигаретной пачки, который к тому же стоял не в центре комнаты, а где-то в углу. Но зрительные образы исчезли слишком быстро, чтобы Мария успела задуматься над увиденным, а потом на смену им пришли мысли.

Мария не поняла почти ничего из того вихря понятий, который ей открылся; к тому же этот вихрь был каким-то затхлым и мрачным, словно волна пыли, которая поднимается, когда из чулана выпадает старая ширма. Мария заключила, что имеет дело с сильно замусоренным и не вполне нормальным сознанием, и, когда все кончилось, испытала большое облегчение. Улов, оставшийся в розовой пустоте ее души, состоял из не до конца ясных слов. Слова были такие – «прекрасная дама» (здесь было понятно, о ком идет речь), «незнакомка» (тоже), потом мерцало слово «Жених» (почему-то с большой буквы), потом слово «Гость» (тоже с большой), дальше висело непонятное словосочетание «алхимический брак», а за ним – что-то совсем темное: «отдых напрасен, стучу в ворота». На этом

мысли кончались – после них еще раз мелькнула фотография человека с исступленным взглядом и длинными висячими усами, большие похожими на растущую прямо из-под носа бороду.

Она растерянно огляделась по сторонам. По-прежнему вокруг был главным образом дым. Мария подумала, что, может быть, где-то рядом находятся ворота, в которые надо постучать, и сделала несколько робких шагов во мглу. Чернота сразу же обступила ее со всех сторон, ей стало страшно, и она выскочила назад на набережную, где все-таки было немного света.

«Да и если постучать, – подумала она, – разве ж кто откроет?»

Сзади раздалось урчание автомобильного мотора. Мария прижалась к ограждению набережной и с опаской стала ожидать, что появится из дыма. Прошло несколько секунд, и мимо нее медленно проплыла длинная черная машина, «Чайка», украшенная разноцветными лентами, – это был, как она поняла, свадебный экипаж. Машина была забита сосредоточенно молчащими людьми; из ее окон торчало несколько автоматных стволов, а на крыше блестели два желтых кольца, побольше и поменьше.

Мария проводила «Чайку» взглядом и хлопнула себя ладошкой по лбу. Ну конечно, поняла она. Да. Именно так. Два соединенных кольца, Жених, Гость, Спонсор. Алхимический брак – правда, непонятно, что это такое – алхимический, но, в случае чего, адвокат у нее хороший. Мария покачала головой и улыбнулась. Как она могла столько времени не видеть самого простого, самого главного? И о чем она вообще думала?

Она огляделась, примерно сориентировалась по сторонам света и протянула руки на запад (каким-то образом было ясно, что Жених появится оттуда).

– Приди! – молитвенно прошептала она и сразу почувствовала некое новое присутствие, появившееся в мире.

Теперь осталось только дожидаться встречи. Она побежала вперед, с радостью чувствуя, как расстояние между ней и Женихом сокращается – он, как она уже знала, шел ей навстречу по этой же самой набережной, но, в отличие от нее, не спешил, потому что спешить было не в его характере.

Чудом перескочив через неожиданно появившийся из дыма открытый канализационный люк, Мария замедлила шаг и стала лихорадочно шарить по карманам. Ей в голову пришло, что у нее с собой нет ни зеркальца, ни косметички. На миг ее охватило отчаяние – она даже стала вспоминать, не было ли на пути какой-нибудь лужи, где можно было бы увидеть свое отражение. Но отчаяние рассеялось так же быстро, как появилось – Мария вспомнила, что может предстать перед Женихом такой, какой пожелает.

Она некоторое время размышляла. Пусть он увидит совсем молодую девушку, решила она, с двумя рыжими косичками, веснушчатым лицом и... и... Нужна была какая-нибудь милая деталь, какая-нибудь наивная черточка – сережки? Бейсбольная кепка? Оставалось совсем мало времени, и в последний момент Мария украсила себя ярко-розовыми наушниками, которые как бы продолжали горящий на ее щеках румянец. После этого она подняла глаза и стала смотреть вперед.

Впереди, в рваных лоскутах дыма, мелькнуло что-то металлическое и сразу скрылось. Потом появилось чуть ближе и опять скрылось во мгле. Вдруг порыв ветра отогнал дым в сторону, и Мария увидела высокую сверкающую фигуру, медленно идущую ей навстречу. Одновременно она заметила – или это показалось ей, – что с каждым шагом этой фигуры земля чуть содрогается. Металлический человек был намного выше ее ростом, и его бесстрастно-красивое лицо не выражало абсолютно никаких чувств. Марии стало страшно, и она попятилась назад – она помнила, что где-то у нее за спиной остался открытый люк, но не могла оторвать взгляда от металлического торса, надвигавшегося на нее, как нос огромного ледокола на льдину.

В тот момент, когда она уже готова была закричать, с металлическим человеком произошла удивительная трансформация. Сначала на его сверкающих ляжках появились полосатые трусы очень домашнего вида, потом белая майка, затем его тело приобрело нормальный цвет загорелой человеческой кожи и сразу же вслед за этим облеклось в канареечные брюки, рубашку с полосатым галстуком и дивной красоты малиновый двубортный пиджак с золотыми пуговицами. Только тут Мария успокоилась. Но малиновый пиджак радовал ее глаза совсем недолго – он скрылся под возникшим сверху длинным серым плащом. На ногах Гостя появились черные туфли, а на лице – черные зеркальные очки. Волосы застыли в рыжевато-белом ежике, и Мария с радостным замиранием сердца узнала в Женихе Арнольда Шварценеггера – да это, как она сразу же поняла, и не мог быть никто другой.

Он стоял перед ней и молча глядел на нее квадратными черными стеклами; на его губах играла еле заметная улыбка. Мария увидела свое отражение в его очках и поправила наушники.

– О дева Мария, – тихо сказал Шварценеггер.

Он говорил без выражения, гулким, но приятным голосом.

– Нет, милый, – сказала Мария, загадочно улыбаясь и поднимая сложенные руки к груди, – просто Мария.

– Просто Мария, – повторил Шварценеггер.

– Да, – сказала Мария. – А ты Арнольд?

– Sure, – сказал Шварценеггер.

Мария открыла рот, чтобы что-то сказать, но вдруг выяснилось, что сказать ей совершенно нечего. Шварценеггер все так же молча смотрел на нее и улыбался. Мария потупилась и покраснела, и тогда Шварценеггер ласковым, но непреодолимо сильным движением развернул ее и повел рядом с собой. Мария подняла на него глаза и улыбнулась своей знаменитой глуповато-загадочной улыбкой. Шварценеггер положил ей руку на плечо. Мария чуть просела под ее тяжестью, и тут же из памяти выплыла неожиданная картина – Ленин, несущий бревно на субботнике. На картине над плечом Ленина был виден только край бревна, и Мария подумала, что, может быть, на самом деле это было не бревно, а рука некоего могущественного существа, на которое Ленин мог только коситься с беззащитной улыбкой, как сейчас она на Шварценеггера. В следующий момент Мария поняла, что думает нечто совершенно неуместное, и вымела все это прочь из головы.

Шварценеггер повернул к ней лицо.

– У тебя очи, – монотонно сказал он, – как с полотна Айвазовского.

Мария от неожиданности вздрогнула. Таких слов она не ждала, и Шварценеггер, видимо, понял это сразу. А дальше произошло нечто странное – или, может быть, не произошло на самом деле, а только почудилось Марии, – по темным очкам Шварценеггера изнутри замелькали какие-то чуть заметные красные буквы, как это бывает на бегущей строке, и одновременно что-то тихо заверещало в его голове, словно там включился компьютерный хард-диск. Мария испуганно отшатнулась, но тут же вспомнила, что Шварценеггер, так же как и она, существо условное и соткан из тысяч русских сознаний, думающих в эту секунду о нем, а мысли по его поводу у людей могли быть самыми разными.

Шварценеггер поднял перед собой свободную руку и пошевелил в воздухе пальцами, подыскивая подходящие слова.

– Нет, – сказал он наконец, – у тебя не глаза, а жемчужины!

Мария прильнула к нему и доверчиво посмотрела на него снизу вверх. Шварценеггер втянул подбородок в шею, словно для того, чтобы Мария не заглянула ему под очки.

– Тут много дыма, – сказал он, – зачем мы идем по этой набережной?

– Не знаю, – ответила Мария.

Шварценеггер развернулся и повел ее прочь от решетки прямо сквозь дым. Через несколько шагов Марии стало страшно, потому что дым стал таким плотным, что видно уже не было ничего, даже Шварценеггера – разглядеть можно было только ту часть его руки, которая обнимала ее плечо.

– Откуда столько дыма? – спросила Мария. – Ведь вроде и не горит ничего.

– Си-эн-эн, – ответил Шварценеггер.

– Что, они что-то жгут?

– Нет, – сказал Шварценеггер. – Показывают.

Ага, поняла Мария, наверно, все те, кто думает про нее и Шварценеггера, смотрят сейчас Си-эн-эн, а Си-эн-эн показывает какой-то дым. Но как уже долго, однако.

– Ничего, – сказал невидимый Шварценеггер. – Скоро кончится.

Но дым никак не кончался, а они уходили все дальше и дальше от набережной. Марии вдруг пришло в голову, что вместо Шварценеггера рядом с ней уже несколько минут может идти кто-то другой – ну хотя бы тот, кто обнимал Ленина на субботнике, и эта мысль так ее напугала, что она машинально поправила наушники и включила музыку. Музыка была странной и какой-то рубленой – то начинали сладко петь о любви гитары и трубы, то вдруг раздавался протяжный электронный вой, очень похожий на волчий. Но все же это было лучше, чем слышать только далекие взрывы и неясную мешанину человеческих голосов.

Вдруг из дыма прямо на Марию вылетела какая-то фигура и сильно пихнула ее в грудь. Мария вскрикнула и увидела перед собой человека в пятнистой одежде, с автоматом в руке. Человек поднял глаза на Марию, открыл было рот, но тут Шварценеггер снял свою руку с плеча Марии, взял человека за голову, несильно крутанул ее вбок и отбросил обмякшее тело за пределы видимости. Его рука вернулась на плечо Марии, и Мария прижалась к его литому торсу.

– Ах, мужчины, мужчины, – тихо проворковала она.

Дым стал понемногу рассеиваться. Мария опять стала видеть лицо Шварценеггера, а потом и все его большое тело, спрятанное, как памятник перед открытием, под светло-серым покрывалом плаща.

– Арнольд, – спросила она, – а куда мы идем?

– Разве ты не знаешь? – сказал Шварценеггер.

Мария покраснела и потупилась.

«Что же это все-таки такое – алхимический брак? – подумала она. – И не будет ли мне больно? В смысле – потом? Ведь уже столько раз бывало».

Она подняла на него глаза и увидела на его щеках прославленные ямочки – Шварценеггер улыбался. Мария закрыла глаза и, не веря своему счастью, пошла туда, куда ее направляла рука, лежавшая на ее плече.

Когда Шварценеггер остановился, она открыла глаза и увидела, что дыма вокруг почти не осталось. Они стояли на незнакомой улице, между старых домов, облицованных гранитом. Улица была пустынной, только вдалеке, там, где за полосой дыма осталась набережная, бессмысленно суетились согнувшиеся фигурки с автоматами. Шварценеггер как-то странно мялся на месте – Марии показалось, что его грызут сомнения непонятной природы, и она испуганно подумала, что эти сомнения могут касаться ее.

«Срочно нужно сказать что-нибудь романтическое, – подумала она. – А что, собственно, сказать? Да неважно».

– Знаешь, Арнольд, – заговорила она, прижимаясь к его боку, – мне вдруг... Я не знаю, может быть, это покажется тебе глупым... Но ведь я могу быть с тобой искренней?

– Конечно, – сказал Шварценеггер, поворачивая к ней черные стекла.

– Когда я рядом с тобой, мне так хочется взлететь ввысь! Мне кажется, что небо совсем близко!

Шварценеггер поднял голову и посмотрел вверх.

Между полосами дыма действительно виднелось ярко-голубое небо – нельзя было сказать, что оно особенно близко, но и далеким его назвать тоже было нельзя.

«Ах, – подумала Мария, – ну что я только несу».

Но останавливаться было уже поздно.

– А ты, Арнольд, – ты хотел бы взлететь ввысь?

Шварценеггер секунду подумал.

– Хотел бы, – сказал он.

– А ты возьмешь меня с собой? Ведь я... – Мария застенчиво улыбнулась, – ведь я такая земная.

Шварценеггер подумал еще секунду.

– О.К., – сказал он. – Я возьму тебя ввысь.

Он осмотрелся по сторонам, словно пытаясь найти вокруг какие-то только ему ведомые ориентиры – и, видимо, нашел их, потому что решительно схватил Марию под руку и потащил ее вперед. Мария поразилась такому быстрому переходу от поэтической абстракции к действиям, но сразу же подумала, что именно так и должен поступать настоящий мужчина.

Шварценеггер поволок ее вдоль длинного сталинского дома. Через несколько шагов Мария приноровилась к его быстрой поступи и затрусила рядом, держась за рукав его плаща. Она чувствовала, что стоит ей сбавить шаг, и рука Шварценеггера из галантно предоставленной ей точки опоры превратится в стальной рычаг, который безжалостно потащит ее по мостовой, и эта мысль отчего-то наполняла ее беспредельным счастьем, которое возникало в самом низу живота и теплыми волнами растекалось по телу.

Дойдя до конца здания, Шварценеггер повернул в похожую на триумфальную арку подворотню. Когда они оказались во дворе, Марии показалось, что они перенеслись в какой-то другой город. Здесь стояла ничем не нарушаемая утренняя тишина; никакого дыма вокруг не было, и трудно было даже поверить, что где-то совсем рядом мечутся озабоченные люди с автоматами.

Шварценеггер определенно знал, куда он ведет Марию. Они обогнули маленькую детскую площадку с качелями и нырнули в лабиринт узких проходов между ржавыми гаражами. Мария со сладким ужасом подумала, что где-нибудь здесь, быстро и немного неловко, и произойдет алхимический брак – как вдруг проход вывел в пустое пространство, со всех сторон окруженное жестяными стенами разного цвета и высоты.

Впрочем, пространство было не совсем пустым. Под ногами, как и положено, валялись бутылки, еще была пара старых покрышек, мятая дверь от «Лады» и большое количество разного квазимеханического мусора, который всегда скапливается возле гаражей.

Кроме того, был еще самолет.

Он занимал собой почти все свободное место, но Мария увидела его в последнюю очередь – наверно, потому, что ее мозг несколько секунд отфильтровывал поступающие из глаз сигналы как заведомую галлюцинацию. Марии стало страшно.

«Откуда здесь взяться самолету? – подумала она. – Хотя, с другой стороны, откуда здесь взяться Шварценеггеру? Но все равно, это очень странно».

– Что это? – спросила она.

– Истребитель вертикального взлета и посадки «Харриер», – сказал Шварценеггер, – модель «А-4».

Мария увидела на его щеках прославленные ямочки – Шварценеггер улыбался. Она чуть нахмурила свои пушистые брови, и страх в ее душе сменился ревностью к этому огромному насекомому из стекла и металла, который явно занимал в сердце Шварценеггера не меньше места, чем она сама.

Шварценеггер пошел к самолету. Поглощенная своими мыслями, Мария не сразу стронулась с места, и ее дернуло вперед, как будто Шварценеггер был трактором, а она – наспех прицепленным сельскохозяйственным агрегатом.

– Но ведь тут всего одно место, – сказала она, увидев под стеклянным колпаком кабины спинку сиденья.

– Это не страшно, – сказал Шварценеггер, подхватил ее и одним легким движением посадил на крыло.

Мария подтянула ноги и встала на косую дюралевую плоскость. Подул ветер, ее одежды затрепетали, и она подумала, что ей всегда удавались романтические роли.

– А ты? – спросила она.

Но Шварценеггер уже был в кабине – залез он удивительно быстро и ловко, и Мария подумала, что это наверняка монтаж или комбинированные съемки. Высунув голову из кабины, он улыбнулся и показал ей кольцо из соединенных большого и указательного пальцев; Мария подумала, что может считать это кольцо обручальным.

– Садись на фюзеляж, – сказал Шварценеггер, – там, где кончаются крылья. Не бойся. Представь себе, что это карусель. Представь, что ты сидишь на лошадке.

– Ты что, собираешься...

Шварценеггер кивнул.

Его черные очки смотрели Марии прямо в душу, и она поняла, что сейчас, именно сейчас решается ее судьба. Это, несомненно, был экзамен. Женищина, достойная того, чтобы быть рядом со Шварценеггером, не могла оказаться трусливым и пошлым существом, годным только для вялых многосерийных интриг на сексуально-бытовой почве. Она должна была быть способна встречать лицом к лицу смертельную опасность и не выдавать своих чувств ничем, кроме улыбки. Мария попробовала улыбнуться и почувствовала, что улыбка выходит немного вялой.

– Отличная мысль, – сказала она. – А я не замерзну?

– Мы не надолго, – сказал Шварценеггер. – Садись.

Мария пожала плечами, осторожно шагнула к фюзеляжу, который рыбьим позвоночником выпирал над плоскостью крыльев, и аккуратно присела на него.

– Но, – сказал Шварценеггер. – Амазонкой ты будешь садиться тогда, когда мы поедem на мое ранчо в Калифорнии. А сейчас сядь нормально. Сдует.

Мария секунду колебалась.

– Отвернись, – сказала она.

Шварценеггер улыбнулся левым углом рта и отвернулся. Мария перекинула ногу через дюралевый хребет и оседлала фюзеляж. Металл под ней был холодным и чуть влажным от росы; она привстала, чтобы подоткнуть под себя куртку, и ей вдруг померещилось, что самые нежные части ее тела распластались на угловатых бедрах лежащего на спине металлического человека – не то поваленного ветром перемен Дзержинского, не то какого-то адского робота. Она вздрогнула, но эта короткая галлюцинация сразу же кончилась. На смену пришло ощущение, что она сидит на вынутой из холодильника сковородке. Происходящее нравилось ей все меньше и меньше.

– Арнольд, – позвала она, – а ты уверен, что нам надо это делать?

Эти слова она приберегала для совсем других обстоятельств, но сейчас они сами сорвались с языка. Шварценеггер несколько секунд думал.

– Ты же хотела ввысь, – сказал он. – Но если тебе страшно...

– Нет, – переборов себя, сказала Мария, – мне ни капли не страшно. Просто я создаю тебе столько хлопот.

– Никаких хлопот, – сказал Шварценеггер. – Сейчас будет очень шумно, так что надень свои наушники. Кстати, а что ты слушаешь?

– «Джихад Кримсон», – сказала Мария, поправляя на ушах маленькие розовые подушечки.

Лицо Шварценеггера окаменело. Если бы не ветер, шевеливший его осветленные перекисью водорода волосы, Мария решила бы, что кто-то из съемочной группы заменил настоящего Шварценеггера манекеном.

– Что случилось? – испуганно спросила она.

Шварценеггер некоторое время не шевелился. На стеклах его очков задрожали странные красные блики – Мария подумала, что это отражаются увядшие листья поднимающихся за гаражами кленов.

– Арни, – позвала она.

У Шварценеггера несколько раз дернулся угол рта, а затем к нему, видимо, вернулась способность двигаться. Он повертел головой – далось ему это с усилием, словно в подшипник, на котором она вращалась, попал песок.

– Кримсон Джихад? – переспросил он.

– «Джихад Кримсон», – ответила Мария. – Нусрат Фатех Али Хан с Робертом Фрипом. А что?

– Так, – сказал Шварценеггер, – пустяки.

Его голова исчезла в кабине. Внизу, где-то под металлическим брюхом самолета, раздалось электрическое жужжание, которое за несколько секунд переросло в чудовищный по силе рев, – Марии показалось, что она чувствует, как поролоновые подушечки вдавливаются ей в уши. Затем ее плавно качнуло, и гаражи поплыли вниз и назад.

Покачиваясь из стороны в сторону, как лодка, «Харриер» поднимался вертикально вверх – Мария даже не знала, что самолеты могут так летать. Она подумала, что, если закрыть глаза, будет не так страшно, но любопытство оказалось сильнее страха, и меньше чем через минуту она снова их открыла.

Первым, что она увидела, открыв глаза, было наезжающее прямо на нее окно – оно было настолько близко, что Мария отчетливо увидела на экране работавшего в комнате телевизора танк, который поворачивал пушку в ее сторону. Танк на экране выстрелил, и в ту же секунду самолет сильно наклонился и поплыл прочь от стены. Чуть не съехавшая на крыло Мария завизжала от страха, но самолет быстро выровнялся.

– Держись за антенну! – крикнул Шварценеггер, высовываясь из кабины и махая рукой.

Мария опустила глаза. Прямо перед ней из фюзеляжа торчал продолговатый металлический предмет с круглым утолщением на конце – было непонятно, как она не заметила его раньше. Он походил на короткое и узкое вертикальное крыло и сразу вызвал у Марии нескромные ассоциации, хотя его размер был значительно больше, чем встречается в реальной жизни. От одного взгляда на этот мощный выступ страх в ее душе сменился радостным воодушевлением, которого ей так не хватало со всеми этими утомленными Мигелями, немтыми Ленями и пьяненькими Иванами.

Тут все было совсем иначе: круглое утолщение на конце антенны было покрыто маленькими дырочками, что слегка напоминало душевой кран и одновременно заставляло думать о неземных формах жизни и любви. Мария показала на него пальцем и вопросительно поглядела на Шварценеггера. Тот кивнул, широко улыбнулся, и на его зубах засверкало солнце.

Мария подумала, что то, что происходит с ней сейчас – исполнение ее детской мечты. В каком-то фильме она подолгу просиживала над сказками, разглядывая рисунки и воображая себя летящей в небе на спине дракона или огромной птицы – и теперь это действительно с ней происходило. Может быть, не совсем это, – но, подумала она, кладя ладонь на стальной выступ антенны, мечты всегда сбываются иначе, чем мы ожидаем.

Самолет чуть накренился, и Мария заметила, что это произошло в явной связи с тем, что она прикоснулась к антенне. Причем движение самолета показалось ей каким-то удивительно одушевленным – словно бы антенна была самой чувствительной его частью. Мария провела по стальному стержню рукой и сжала его верхнюю часть в кулаке. «Харриер» нервно качнул крыльями и поднялся еще на несколько метров. Мария подумала, что самолет ведет себя совсем как привязанный к кровати мужчина, который не может заключить ее в объятия и в состоянии только дергаться всем телом – сходство усиливалось тем, что она сидела как раз за крыльями, которые походили на раскинутые в стороны ноги – невероятно мускулистые, но не способные пошевелиться.

Это было занятно, но все-таки слишком замысловато – Мария предпочла бы, чтобы вместо этой огромной стальной птицы в пустом пространстве между гаражами нашлась самая обычная раскладушка. Но со Шварценеггером, подумала она, и не могло быть иначе. Она поглядела на кабину – в ней мало что было видно, потому что на стекле отражалось солнце. Кажется, он сидел в своем кресле и чуть водил головой из стороны в сторону в такт движениям ее руки.

«А вот у этого робота в кино, – подумала Мария, кладя на антенну вторую руку, – который был сделан из металла и мог как угодно менять свою форму, какой у него, интересно, был? Наверно, какой угодно?»

Самолет между тем поднимался все выше. Крыши домов остались далеко внизу, и перед Марией открылась величественная панорама Москвы.

Повсюду блестели купола церквей, и город из-за этого казался огромной косяхой, густо усыпанной бессмысленными заклепками. Дыма над Москвой было гораздо меньше, чем Марии казалось, когда она шла по набережной. Кое-где он действительно поднимался над домами, но не всегда было понятно, что это – пожар, выбросы заводских труб или просто низкие облака.

Несмотря на полное безобразие каждой из составных частей, общий вид города был чрезвычайно красив, но источник этой красоты был непонятен. С Россией всегда так, подумала Мария, водя руками по холодной стали – любуешься и плачешь, а присмотришься к тому, чем любуешься, так и вырвать может.

Вдруг самолет дернулся под ней, и она почувствовала, что верхняя часть стержня как-то странно болтается в ее ладони. Она отдернула руки, и сразу же металлический набалдашник с дырочками отвалился от антенны, ударился о фюзеляж и полетел вниз, а от былой мощи осталась короткая трубка с резьбой на конце, из которой торчали два перекрученных оборванных провода, синий и красный.

Мария перевела взгляд на кабину. За стеклом был виден неподвижный белобрысый затылок Шварценеггера. Сначала Мария подумала, что он ничего не заметил. Потом ей пришло в голову, что он в обмороке. Она растерянно поглядела по сторонам, заметила, что нос самолета медленно и как-то неуверенно поворачивается, и ее догадка мгновенно переросла в уверенность. Почти не соображая, что она делает, она перевалилась с фюзеляжа на плоскую площадку между крыльями (при этом обрубок антенны порвал ей куртку) и поползла к кабине.

Фонарь был открыт. Лежа на крыле, Мария приподнялась и закричала:

– Арни! Арни!

Но ответа не было. Она опасливо встала на четвереньки и увидела его затылок с дрожащей на ветру прядью.

– Арни! – еще раз позвала она.

Шварценеггер повернул к ней голову.

– Слава Богу! – вырвалось у Марии.

Шварценеггер снял очки.

Его левый глаз был чуть сощурен и выражал очень ясную и одновременно неизмеримо сложную гамму чувств, среди которых были смешанные в строгой пропорции жизнелюбие, сила, здоровая любовь к детям, моральная поддержка американского автомобилестроения в его нелегкой схватке с Японией, признание прав сексуальных меньшинств, легкая ирония по поводу феминизма и спокойное осознание того, что демократия и иудео-христианские ценности в конце концов обязательно победят все зло в этом мире.

Но его правый глаз был совсем иным. Это даже сложно было назвать глазом. Из развороченной глазницы с засохшими потеками крови на Марию смотрела похожая на большое бельмо круглая стеклянная линза в сложном металлическом держателе, к которому из-под кожи шли тонкие провода. Из самого центра этой линзы бил луч ослепительного красного света – Мария заметила это, когда луч попал ей в глаза.

Шварценеггер улыбнулся. При этом левая часть его лица выразила то, что и положено выражать лицу Арнольда Шварценеггера при улыбке – что-то неуловимо-лукавое и как бы мальчишеское, такое, что сразу становилось понятно: ничего плохого этот человек никогда не сделает, а если и убьет нескольких мудаков, то только после того, как камера несколько раз и под разными углами убедительно зафиксирует их беспредельную низость. Но улыбка затронула только левую часть его лица, правая же осталась совершенно неизменной – холодной, внимательной и страшной.

– Арнольд, – растерянно сказала Мария, поднимаясь на ноги, – Арнольд, зачем ты? Перестань!

Но Шварценеггер не ответил. А в следующий момент самолет резко накренился, и Мария покатила вниз по его крылу. По дороге она несколько раз ударила лицом о какие-то выступы, а потом из-под нее исчезла всякая опора. Она решила, что падает вниз, и зажмурила глаза, чтобы не видеть летящих на нее деревьев и крыш. Но прошло несколько секунд, и ничего не случилось. Мария заметила, что двигатель по-прежнему ревет совсем рядом, и приоткрыла глаза.

Оказалось, что она висит под крылом – капюшон ее куртки зацепился за какой-то оперенный выступ, в котором она с трудом узнала ракету. Ракета своей расширяющейся головной частью немного напоминала антенну, с которой она имела дело несколько минут назад, – увидев это, она решила, что Шварценеггер попросту продолжает свои любовные игры. Но это было уже слишком – у нее на лице наверняка было несколько синяков, а из разбитых губ в рот сочилась кровь.

– Арнольд, – закричала она, отмахивая руками, чтобы развернуться лицом к кабине, – прекрати! Я так не хочу! Слышишь? Я так не хочу!

Наконец ей удалось увидеть кабину и улыбающееся лицо Шварценеггера.

– Я не хочу так, слышишь? Так, как ты хочешь, мне больно!

– No? – переспросил он.

– Нет! Нет!

– О.К., – сказал Шварценеггер. – You are fired ³.

В следующий момент его лицо рванулось назад, и невообразимая сила понесла Марию прочь от самолета, который за несколько секунд превратился в крохотную серебряную птицу, соединенную с ней длинным шлейфом дыма. Мария повернула лицо вперед и увидела наплывающий на нее шпиль Останкинской телебашни. Утолщение на ее средней части быстро росло в размерах, и за миг до удара Мария ясно увидела каких-то людей в белых рубашках и галстуках, сидящих за столом и изумленно глядящих на нее сквозь толстое стекло.

³ Вы уволены (игра слов: вы выстрелены) (англ.).

Зазвенел разбившийся стакан, затем что-то тяжелое упало на пол, и стал слышен громкий плач.

– Осторожнее, осторожнее, – сказал Тимур Тимурович. – Вот так, да. Поняв, что продолжения не будет, я открыл глаза. Я уже мог кое-как видеть – то, что находилось возле меня, было ясно различимо, но более удаленные предметы расплывались, а общая перспектива была такой, словно я находился внутри большого елочного шара, на стенках которого был намалеван окружающий мир. Прямо надо мной двумя утесами возвышались Тимур Тимурович и полковник Смирнов.

– Да, – сказал кто-то в углу. – Вот так и познакомились Арнольд Шварценеггер и просто Мария.

– Я бы обратил внимание, – прокашлявшись, сказал Тимур Тимуровичу полковник Смирнов, – на четко выраженный фаллический характер того, что пациенту постоянно мерещится х...й. Заметили? То антенна, то ракета, то Останкинская башня.

– Вы, военные, слишком прямолинейны, – отозвался Тимур Тимурович. – Не все так просто. Как говорится, умом Россию не понять – но и к сексуальному неврозу тоже не свести. Так что не будем спешить. Важно то, что налицо катарсический эффект, хотя и в ослабленной форме.

– Да, – согласился полковник, – даже стул сломался.

– Именно, – сказал Тимур Тимурович. – Когда заблокированный патологический материал выходит на поверхность сознания, он преодолевает сильное сопротивление, поэтому часто бывают видения катастроф, всяких столкновений – вот как сейчас. Самый верный признак того, что мы движемся в верном направлении.

– А может, это от контузии? – сказал полковник.

– От какой контузии?

– А я вам разве не говорил, в чем дело? Понимаете ли, когда по Белому дому стреляли, несколько снарядов пролетело насквозь, через окна. Так вот один попал прямо в квартиру, где в это время...

Полковник склонился к Тимур Тимуровичу и что-то зашептал ему на ухо.

– Ну и понятно, – долетали до меня отдельные слова, – все вдребезги... Сначала вместе с трупами засекретили, а потом смотрим – шевелится... Потрясение, конечно, сильнейшее.

– Так что ж вы молчали столько времени, батенька? Это ведь всю картину меняет, – укоризненно сказал Тимур Тимурович. – А я тут бьюсь, бьюсь...

Он наклонился надо мной, двумя толстыми пальцами оттянул мне веко и заглянул в глаз.

– А вы как?

– Даже не знаю, – ответил я. – Это, конечно, не самое интересное видение в моей жизни. Но я... Как бы это сказать... Я нахожу занятой ту сновидческую легкость, с которой на несколько минут получил прописку в реальности этот бред.

– Видали? – повернулся Тимур Тимурович к полковнику Смирнову.

Тот молча кивнул.

– Я, родной мой, интересовался не вашим мнением, а вашим самочувствием, – сказал Тимур Тимурович.

– Я чувствую себя хорошо, благодарю вас, – ответил я. – Вот только хочется спать.

Это было чистой правдой.

– Так поспите.

Он повернулся ко мне спиной.

– Завтра утром, – сказал он невидимой нянечке, – пожалуйста, сделайте Петру четыре кубика таурепама прямо перед водными процедурами.

– Радио можно включить? – спросил тихий голос из угла.

Тимур Тимурович щелкнул какой-то кнопкой на стене, взял военного под руку и повел к выходу. Я закрыл глаза и понял, что открыть их опять буду уже не в силах.

– Мне кажется порою, что солдаты, – запел грустный мужской голос, – с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей...

Как только из репродуктора вылетело последнее слово, в палате раздался шум какой-то суматохи.

– Держите Сердюка! – закричал голос над самым моим ухом. – Кто это про журавлей завел? Забыли, что ли?

– Ты же сам включить попросил, – ответил другой голос. – Сейчас переключим.

Раздался еще один щелчок.

– Прошло ли время, – спросил с потолка вкрадчивый голос, – когда российская поп-музыка была синонимом чего-то провинциального? Судите сами. «Воспаление придатков» – редкая для России чисто женская группа. Полный комплект их сценического оборудования весит столько же, сколько танк «Т-90». Кроме того, в их составе одни лесбиянки, две из которых инфицированы английским стрептококком. Несмотря на эти ультрасовременные черты, «Воспаление придатков» играет в основном классическую музыку – правда, в своей интерпретации. Сейчас вы услышите, что девчата сделали из мелодии австрийского композитора Моцарта, которого многие наши слушатели знают по фильму Формана и одноименному австрийскому ликеру, оптовыми поставками которого занимается наш спонсор фирма «Третий глаз».

Заиграла дикая музыка, похожая на завывание метели в тюремной трубе. Слава Богу, я был уже в забытии. Сначала меня одолевали тяжелые мысли о происходящем, а потом привиделся короткий кошмар про американца в черных очках, который как бы продолжал историю, рассказанную этой несчастной.

Американец посадил свой самолет во дворе, облил откуда-то взявшимся керосином и поджег. В огонь полетели малиновый пиджак, черные очки и канареечные брюки, а сам американец остался в крохотных плавках. Поигрывая великолепно развитыми мышцами, он долго искал что-то в кустах, но так и не нашел. Затем в моем сне был провал, а когда я увидел его опять, он уже был, страшно сказать, беременным – видимо, встреча с Марией не прошла для него даром. К этому моменту он успел превратиться в пугающую металлическую фигуру с условным лицом, и на его вздувшемся животе яростно сверкало солнце.

3

Доносившаяся до меня мелодия сначала как бы поднималась вверх по лестнице, а потом, после короткого топтания на месте, отчаянно кидалась в лестничный пролет – и тогда заметны становились короткие мгновения тишины между звуками. Но пальцы пианиста ловили мелодию, опять ставили на ступени, и все повторялось, только пролетом ниже. Место, где это происходило, очень напоминало лестницу дома номер восемь по Тверскому бульвару, только во сне эта лестница уходила вверх и вниз, насколько хватало глаз, и, видимо, была бесконечной. Я понял вдруг, что у любой мелодии есть свой точный смысл. Эта, в частности, демонстрировала метафизическую невозможность самоубийства – не его греховность, а именно невозможность. И еще мне представилось, что все мы – всего лишь звуки, летящие из-под пальцев неведомого пианиста, просто короткие терции, плавные сексты и диссонирующие септимы в грандиозной симфонии, которую никому из нас не дано услышать целиком. Эта мысль вызвала во мне глубокую печаль, и с этой печалью в сердце я и вынырнул из свинцовых туч сна.

Несколько секунд я попытался сообразить, где я, собственно, нахожусь и что происходит в том странном мире, куда меня вот уже двадцать шесть лет каждое утро швыряет неведомая сила. На мне была тяжелая куртка из черной кожи, галифе и сапоги. Что-то больно впивалось мне в бедро. Я повернулся на бок, нащупал под ногой деревянную коробку с маузером и огляделся. Надо мной был шелковый балдахин с удивительной красоты желтыми кистями. Небо за окном было безоблачно-синим, и далекие крыши слабо краснели под холодными лучами зимнего солнца. Прямо напротив моего окна на другой стороне бульвара был виден обитый жестью купол, отчего-то напомнивший мне живот огромной металлической роже-ницы.

Я вдруг понял, что музыка мне не снилась – она отчетливо доносилась из-за стены. Я стал соображать, как я здесь оказался, и вдруг меня словно ударило электричеством – в одну секунду я припомнил вчерашнее и понял, что нахожусь на квартире фон Эрнена. Я вскочил с кровати, метнулся к двери и замер.

За стеной, в той комнате, где остался фон Эрнен, кто-то играл на рояле, причем ту самую фугу фа минор Моцарта, тему из которой кокаин и меланхолия заставили меня вспомнить вчера вечером. У меня в прямом смысле потемнело в глазах – мне представился кадавр, деревянно бьющий по клавишам пальцами, высунутыми из-под наброшенного на него пальто; я понял, что вчерашний кошмар еще не кончился. Охватившее меня смятение трудно передать. Я оглядел комнату и увидел на стене большое деревянное распятие с изящной серебряной фигуркой Христа, при взгляде на которую у меня мелькнуло странное чувство, похожее на *deja vu* – словно я уже видел это металлическое тело в каком-то недавнем сне. Сняв распятие, я достал из кобуры маузер и на цыпочках вышел в коридор. Двигало мной примерно такое соображение – если уж допускать, что покойник может играть на рояле, то можно допустить и то, что он боится креста.

Дверь в комнату, где играл рояль, была приоткрыта. Стараясь ступать как можно тише, я подошел к ней и заглянул внутрь. Отсюда был виден только край рояля. Несколько раз глубоко вдохнув, я толчком ноги распахнул дверь и шагнул в комнату, сжимая одной рукой тяжелый крест, а другой – готовое к стрельбе оружие. Первым, что я увидел, были сапоги фон Эрнена, торчащие из угла; он мирно покоился под своим серым английским саваном.

Я повернулся к роялю.

За ним сидел человек в черной гимнастерке, которого я видел вчера в ресторане. На вид ему было лет пятьдесят; у него были загнутые вверх густые усы и легкая седина на висках. Казалось, он даже не заметил моего появления – его глаза были закрыты, словно весь

он ушел в музыку. Играл он и правда превосходно. На крышке рояля я увидел папаху тончайшего каракуля с муаровой красной лентой и необычной формы шашку в великолепных ножнах.

– Доброе утро, – сказал я, опуская маузер.

Человек за роялем поднял веки и окинул меня внимательным взглядом. Его глаза были черными и пронизывающими, и мне стоило некоторого усилия выдержать их почти физическое давление. Заметив крест в моей руке, он еле заметно улыбнулся.

– Доброе утро, – сказал он, продолжая играть. – Отрадно видеть, что с самого утра вы думаете о душе.

– Что вы здесь делаете? – спросил я, осторожно укладывая распятие на крышку рояля рядом с его шашкой.

– Я пытаюсь, – сказал он, – сыграть одну довольно трудную пьесу. Но, к сожалению, она написана для четырех рук, и сейчас приближается пассаж, с которым мне не справиться одному. Не будете ли вы так любезны помочь мне? Кажется, вам знакома эта вещь.

Словно в каком-то трансе, я сунул маузер в кобуру, встал рядом и, улучив момент, опустил пальцы на клавиши. Мой контрапункт еле попевал за темой, и я несколько раз ошибся; потом мой взгляд снова упал на раскинутые ноги фон Эрнена, и до меня дошел весь абсурд происходящего. Я отшатнулся в сторону и уставился на своего гостя. Он перестал играть и некоторое время сидел неподвижно – казалось, уйдя глубоко в свои мысли. Потом он улыбнулся, протянул руку и взял с крышки распятие.

– Бесподобно, – сказал он. – Я никогда не понимал, зачем Богу было являться людям в безобразном человеческом теле. По-моему, гораздо более подходящей формой была бы совершенная мелодия – такая, которую можно было бы слушать и слушать без конца.

– Кто вы такой? – спросил я.

– Моя фамилия Чапаев, – ответил незнакомец.

– Она ничего мне не говорит, – сказал я.

– Вот именно поэтому я ей и пользуюсь, – сказал он. – А зовут меня Василий Иванович. Полагаю, что это вам тоже ничего не скажет.

Он встал со стула и потянулся; при этом суставы его тела издали громкий треск. Я почувствовал легкий запах дорогого английского одеколona.

– Вчера, – сказал он, пристально глядя на меня, – вы забыли в «Музыкальной табакерке» свой саквояж. Вот он.

Я посмотрел на пол и увидел стоящий возле ножки рояля черный саквояж фон Эрнена.

– Благодарю вас, – сказал я. – Но как вы вошли в квартиру?

– Я пытался звонить, – сказал он, – но звонок, видимо, не работает. А ключи торчали из двери. Я увидел, что вы спите, и решил подождать. – Понятно, – сказал я.

На самом деле ничего понятно мне не было. Как он узнал, где я? К кому он вообще пришел – ко мне или к фон Эрнену? Кто он и чего он хочет? И почему – именно это мучило меня невыносимо – почему он играл эту проклятую фугу? Подозревает ли он что-нибудь? (Кстати сказать, накрытый пальто труп в углу смущал меня меньше всего – это был вполне обычный для чекистских квартир предмет обстановки.)

Чапаев словно прочел мои мысли.

– Как вы, очевидно, догадываетесь, – сказал он, – я к вам не только по поводу вашего саквояжа. Сегодня я отбываю на восточный фронт, где команду дивизией. Мне нужен комиссар. Прошлый... Ну, скажем, не оправдал возлагавшихся на него надежд. Вчера я видел вашу агитацию, и вы произвели на меня недурное впечатление. Кстати, Бабаясин тоже очень доволен. Я хотел бы, чтобы политическую работу во вверенных мне частях проводили вы.

С этими словами он расстегнул карман гимнастерки и протянул мне сложенный вчетверо лист бумаги. Я развернул его и прочел:

Тов. Фанерному. Согласно приказа тов. Дзержинского вы немедленно переводитесь в распоряжение командира Азиатской Конной Дивизии тов. Чапаева с целью заострения политической работы. Бабаясин.

Снизу стояла уже знакомая мне расплывающаяся фиолетовая печать. Что же это за Бабаясин такой, смятенно подумал я и поднял глаза.

– Так как вас все-таки зовут? – прищурясь, спросил Чапаев. – Григорий или Петр?

– Петр, – облизнув пересохшие губы, сказал я. – Григорий – это мой старый литературный псевдоним. Знаете, все время возникает путаница. Некоторые по старой памяти говорят Григорий, некоторые – Петр...

Кивнув, он взял с рояля шашку и папаху.

– Так вот, Петр, – сказал он, – возможно, это покажется вам не вполне удобным, но наш поезд отбывает сегодня. Ничего не поделаешь. Война. У вас есть в Москве какие-нибудь незавершенные дела?

– Нет, – сказал я.

– В таком случае я предлагаю вам отбыть со мной незамедлительно. Сейчас мне надо быть на погрузке полка ивановских ткачей, и я хотел бы, чтобы вы присутствовали. Не исключено, что вам придется выступить. У вас много вещей?

– Только это, – сказал я, кивая на саквояж.

– Отлично. Я сегодня же распоряжусь поставить вас на довольствие при штабном вагоне.

Он направился к дверям.

Я поднял саквояж и вышел в коридор вслед за ним. В моей голове была совершеннейшая путаница и хаос. Человек, шагавший впереди по коридору, пугал меня. Я не мог понять, кто он – по манерам он меньше всего напоминал красного командира, но тем не менее явно был одним из них; к тому же подпись и печать на сегодняшнем приказе были такими же, как и на вчерашнем. Выходило, что у него достаточно влияния, чтобы за одно утро добиться нужного ему решения и от кровавого Дзержинского, и от этого темного Бабаясина.

В прихожей Чапаев остановился и снял с вешалки длинную голубую шинель с тремя полосами переливающегося алого муара поперек груди. Шинели с таким украшением были последней красногвардейской модой – правда, обычно эти нагрудные полосы-застежки делали из обычного красного сукна. Надев шинель и папаху, Чапаев перепоясался ремнем, на котором висела коробка с маузером, прицепил шашку и повернулся ко мне. Я заметил на его груди орден странного вида – серебряную звезду с шариками на зондах лучей. Никаких изображений или слов на ордене не было. Чапаев заметил мой взгляд.

– Украшали себя к Новому году? – спросил я.

Чапаев добродушно засмеялся.

– Нет, – сказал он. – Это орден Октябрьской Звезды.

– Никогда не слышал.

– Повезет, сами такой заслужите, – сказал он. – Готовы?

– Товарищ Чапаев, – заговорил я, решив воспользоваться неофициальным тоном нашей беседы, – у меня к вам один вопрос, который может показаться вам странным.

– Я весь внимание, – сказал он и вежливо улыбнулся, похлопывая себя по ножнам длинной желтой крагой.

– Признайтесь, – сказал я, глядя ему прямо в глаза, – отчего вы играли на рояле? И почему – именно эту вещь?

Чапаев улыбнулся в усы.

– Видите ли, – сказал он, – когда я заглянул в вашу комнату, вы еще спали. Так вот, во сне вы насвистывали – боюсь, правда, что не совсем точно – эту фугу. Что же до меня, то я очень люблю Моцарта. Когда-то я посещал консерваторию и готовился к карьере музыканта. Но с тех пор многое в моей жизни изменилось. А отчего это вас волнует?

– Так, – сказал я, – пустое. Одно странное совпадение.

Мы вышли на лестничную клетку. Ключи действительно торчали из двери. Я машинально запер квартиру, бросил их в карман и пошел по лестнице вслед за Чапаевым, думая о том, что у меня никогда в жизни не было привычки свистеть. Тем более во сне.

Первым, что я увидел, выйдя на морозную солнечную улицу, был длинный серо-зеленый броневик – тот самый, который я заметил вчера на улице возле «Музыкальной табакерки». До этого я не видел таких машин – это, несомненно, было последнее слово науки уничтожения. Его корпус был усеян крупными полукруглыми заклепками; вперед выдавалось тупое рыло мотора, увенчанное двумя мощными фарами; высокий стальной лоб, чуть скошенный назад, грозно смотрел на Никитскую площадь двумя косыми смотровыми щелями, похожими на полузакрытые глаза Будды. Наверху была цилиндрическая пулеметная башня, повернутая в сторону Тверского бульвара; ствол пулемета по бокам был защищен двумя расширяющимися стальными полосами. В борту была небольшая дверь.

Вокруг толпилась ребятня – некоторые были с санками, другие с коньками, и я машинально подумал, что пока идиоты взрослые заняты переустройством выдуманного ими мира, дети продолжают жить в реальности – среди снежных гор и солнечного света, на черных зеркалах замерзших водоемов и в мистической тишине заснеженных ночных дворов. И хоть эти дети тоже были заражены бациллой обрушившегося на Россию безумия – это было ясно по взглядам, которые они бросали на сверкающую шашку Чапаева и мой маузер, – все же в их чистых глазах еще сияла память о чем-то, уже давно забытом мной; быть может, это было неосознанное воспоминание о великом источнике всего существующего, от которого они, углубляясь в позорную пустыню жизни, не успели еще отойти слишком далеко.

Чапаев подошел к броневику и отрывисто постучал в борт. Заработал мотор, и зад броневика окутался облаком сизого дыма. Чапаев открыл дверь, и в этот самый момент я услышал за спиной скрип тормозов. Рядом с нами остановилась крытая машина. Из нее вылезли четверо в черных кожаных куртках и скрылись в подъезде, из которого мы только что вышли. У меня екнуло в груди – я подумал, что они приехали за мной. Наверно, эта мысль пришла мне в голову оттого, что эти четверо напомнили мне вчерашних актеров в черных плащах, выносивших со сцены труп Раскольникова. Один из них, задержавшись в дверях, поглядел в нашу сторону.

– Быстрее, – крикнул из броневика Чапаев. – Холоду напустите.

Я кинул внутрь саквояж, торопливо влез следом и захлопнул за собой дверь.

Интерьер этой грозной машины очаровал меня с первого взгляда. Небольшое пространство, отделенное перегородкой от кабины шофера, напоминало купе Норд-экспресса – два узких кожаных дивана, столик между ними и коврик на полу создавали, несмотря на тесноту, ощущение уюта. В потолке было круглое отверстие, за которым виднелся массивный приклад зачехленного пулемета; в пулеметную башню поднималась ажурная винтовая лесенка, кончающаяся подобием вращающегося стула с упором для ног. Освещала все это небольшая электрическая лампочка, в свете которой я разглядел картину, прикрученную к стене болтами по углам рамы. Это был маленький пейзаж в духе Джона Констебла – мост над рекой, далекая грозная туча и романтические руины.

Чапаев поймал раструб переговорной трубки и сказал в него:

– На вокзал.

Броневик мягко тронулся с места – движение внутри почти не ощущалось. Чапаев сел на диван и жестом пригласил меня сесть напротив.

– Великолепная машина, – сказал я совершенно искренне.

– Да, – сказал Чапаев, – недурной броневик. Но я недолюбливаю технику. Когда вы увидите моего коня...

Он сунул руку под столик и вынул оттуда сложенную игральную доску.

– Партию в трик-трак? – спросил он.

Я пожал плечами. Открыв доску, он принялся расставлять черные и белые шашки.

– Товарищ Чапаев, – заговорил я, – а в чем будет заключаться моя работа? Какой круг вопросов?

Чапаев бережным движением поправил ус.

– Видите ли, Петр, наша дивизия – это сложный организм. Я полагаю, что вы постепенно втянетесь в его жизнь и сами найдете для себя, так сказать, нишу. Сейчас еще преждевременно говорить о том, какой именно она будет, но из вашего вчерашнего поведения я понял, что вы человек решительный и к тому же тонко чувствуете суть происходящего. Такие люди нам нужны. Ваш ход.

Я кинул кости на доску, размышляя, как себя вести. Мне плохо верилось, что он действительно красный командир – почему-то я думал, что он играет в ту же безумную игру, что и я, только дольше, виртуознее и, возможно, по своей воле. Но, с другой стороны, все мои сомнения основывались исключительно на его интеллигентной манере разговора и гипнотической силе глаз – а это само по себе ничего не значило: покойник фон Эрнен, к примеру, тоже был изрядно интеллигентен, а главарь ЧК Дзержинский был довольно известным в оккультных кругах гипнотизером. И потом, подумал я, глупа сама постановка вопроса – ведь нет ни одного красного командира, который действительно был бы красным командиром; любой из них просто изо всех сил старается походить на некий inferнальный эталон, притворяясь точно так же, как и я вчера, но безоглядно. Что касалось Чапаева, то я не воспринимал его в том качестве, которое подразумевал его военный наряд, но другие, видимо, воспринимали – это доказывал и приказ Бабаясина, и броневик, в котором мы ехали. Я не знал, чего он от меня хочет, но решил пока принять его правила игры; к тому же я испытывал к нему инстинктивное доверие. Отчего-то мне казалось, что этот человек стоит несколькими пролетами выше меня на той бесконечной лестнице бытия, которую я видел сегодня утром во сне.

– Вы чем-то озабочены? – спросил Чапаев, кидая кости. – Быть может, вас мучит какая-нибудь мысль?

– Уже нет, – ответил я. – Скажите, а Бабаясин легко согласился передать меня в ваше распоряжение?

– Как раз Бабаясин был против, – сказал Чапаев. – Он вас очень ценит. Я решал этот вопрос с Дзержинским.

– Что, – спросил я, – вы знакомы?

– Да.

– Вы, товарищ Чапаев, может быть, и Ильича знаете? – спросил я с легкой иронией.

– Довольно коротко, – ответил он.

– Покажите как-нибудь, – сказал я.

– Отчего нет. Если желаете, можно прямо сейчас.

Это было уже слишком. Я с недоумением посмотрел на него, но он ничуть не смутился. Сдвинув доску в сторону, он плавным движением вытянул из ножен шашку и положил ее на стол.

Шашка, надо сказать, была довольно странная. У нее была длинная серебряная рукоять, покрытая резьбой, – на ней были изображены две птицы, между которыми был круг с сидящим в нем зайцем, а все остальное место занимал тончайший орнамент. Рукоять кончалась нефритовым набалдашником, к которому был привязан короткий толстый шнур витого

шелка с лиловой кистью на конце. Перед рукояткой была круглая гарда из черного железа; сверкающее лезвие было длинным и чуть изогнутым – собственно, это была даже не шашка, а какой-то восточный, китайский скорее всего, меч. Но я не успел как следует рассмотреть его, потому что Чапаев выключил свет.

Мы оказались в полной темноте. Я не видел ничего – только слышал ровный шум мотора (кстати сказать, звуковая изоляция этого бронированного автомобиля была превосходной – с улицы не долетало ни малейшего шума) и ощущал легкое покачивание. Чапаев зажег спичку и поднял ее над столом.

– Смотрите на лезвие, – сказал он.

Я посмотрел на размытое красноватое отражение, появившееся на стальной полосе. В нем была какая-то странная глубина – казалось, я гляжу сквозь слегка запотевшее стекло в длинный, слабо освещенный коридор. По изображению прошла легкая рябь, и я увидел расслабленно идущего по коридору человека в расстегнутом френче. Он был небрит и лыс; ржавая щетина на его щеках переходила в неряшливую бородку и усы. Он наклонился к полу, протянул вперед подрагивающие руки, и я заметил жмущегося в угол коридора котенка с большими печальными глазами. Изображение было очень четким, но искаженным, словно я видел отражение на поверхности елочного шара. Вдруг, неожиданно для себя, я кашлянул. И тут Ленин – а это, несомненно, был он – вздрогнул, повернулся и уставился в мою сторону. Я понял, что он видит меня – в его глазах на секунду мелькнул испуг, а затем они стали хитрыми и как бы виноватыми; он с кривой улыбкой погрозил мне пальцем и сказал:

– Мисюсю! Где ты?

Чапаев дунул на спичку, и картинка пропала; я успел заметить удирающего по коридору котенка и вдруг понял, что видел все это вовсе не на шашке, а только что каким-то непонятным образом был там и мог бы, наверно, коснуться котенка рукой.

Зажегся свет. Я изумленно поглядел на Чапаева, который уже вложил шашку в ножны.

– Владимир Ильич перечитывает Чехова, – сказал он.

– Что это было? – спросил я.

Чапаев пожал плечами.

– Ленин, – сказал он.

– Он меня видел?

– Не думаю, что вас, – сказал Чапаев. – Скорее, он ощутил некое присутствие. Но это вряд ли его особенно потрясло. Он привык к подобным вещам. На него много кто смотрит.

– Но как вы... Каким образом... Это был гипноз?

– Не более, чем все остальное, – сказал он и кивнул на стену, подразумевая, видимо, то, что было за ней.

– Кто вы на самом деле? – спросил я.

– Вы задаете мне этот вопрос уже второй раз за сегодняшний день, – сказал он. – Я уже ответил, что моя фамилия Чапаев. Пока это все, что я могу вам сказать. Не торопите события. Кстати, в наших частных беседах вы можете звать меня Василием Ивановичем – «товарищ Чапаев» звучит слишком торжественно.

Я уже открыл рот, чтобы потребовать объяснений, и вдруг одна мысль остановила меня. Я понял, что дальнейшая настойчивость с моей стороны ни к чему не приведет; больше того, она может повредить. Но самым поразительным было то, что мысль эта не была моей – я чувствовал, что она каким-то неясным способом была передана мне Чапаевым.

Броневи́к замедлил ход. Из переговорной трубки долетел искаженный голос шофера:

– Вокзал, Василий Иванович!

– Отлично, – отозвался Чапаев.

Несколько минут броневик медленно маневрировал и наконец остановился. Чапаев надел папаху, встал с дивана и открыл дверцу. В кабину ворвался холодный воздух, красноватые зимние лучи и глухой шум сотен сливающихся голосов.

– Возьмите саквояж, – сказал Чапаев и легко спрыгнул на землю. Слегка щурясь после уютной полутьмы броневика, я вылез следом.

Мы находились в самом центре площади у Ярославского вокзала. Со всех сторон нас окружала волнуемая толпа по-разному одетых вооруженных людей, построенных в неровное подобие каре. Вдоль строя расхаживали какие-то мелкие красные командиры с шашками наголо. При появлении Чапаева послышались крики, общий шум голосов стал делаться громче и через несколько секунд перерос в тяжелое «ура», облетевшее площадь несколько раз.

Броневик стоял возле украшенной скрещенными флагами дощатой трибуны, похожей на эшафот. На ней переговаривались несколько человек военных; при нашем появлении они зааплодировали. Чапаев быстро взошел по скрипучим ступеням вверх; стараясь не отставать, я поднялся следом. Бегло поздоровавшись с парой военных (один из них был в перетянутой ремнями бобровой шубе), Чапаев подошел к ограждению эшафота и поднял вверх ладонь в желтой краге, призывая людей к молчанию.

– Ребята! – надсаживая голос, крикнул он. – Собрались вы тут сами знаете на што. Неча тут смозоливать. Всего навидаетесь, все испытаете. Нешто можно без этого? А? На фронт приедешь – живо сенькину мать куснешь. А што думал – там тебе не в лукошке кататься...

Я обратил внимание на пластику движений Чапаева – он говорил, равномерно поворачиваясь из стороны в сторону и энергично рубя воздух перед своей грудью желтой кожаной ладонью. Смысл его убыстряющейся речи ускользал от меня, но, судя по тому, как рабочие вытягивали шеи, вслушивались и кивали, иногда начиная довольно скалиться, он говорил что-то близкое их рассудку.

Кто-то дернул меня за рукав. Похолодев, я обернулся и увидел короткого молодого человека с жидкими усиками, розовым от мороза лицом и цепкими глазами цвета спитого чая.

– Ф-фу, – сказал он.

– Что? – переспросил я.

– Ф-фурманов, – сказал он и сунул мне широкую короткопалую ладонь.

– Прекрасный день, – ответил я, пожимая его руку.

– Я к-комиссар полка ткачей, – сказал он. – Б-будем работать вместе. Вы с-сейчас будете говорить – п-постарайтесь покороче. Скоро посадка.

– Хорошо, – сказал я.

Он с сомнением посмотрел на кисти моих рук.

– Вы в п-партии?

Я кивнул.

– Д-давно ли?

– Около двух лет, – ответил я.

Фурманов перевел взгляд на Чапаева.

– Орел, – сказал он, – только смотреть за ним надо. Г-говорят, заносит его часто. Но б-бойцы его любят. П-понимают его.

Он кивнул на притихшую площадь, над которой разносились слова Чапаева:

– Только бы дело свое не посрамить – то-то оно, дело-то!.. Как есть одному без другого никак не устоять... А ежели у вас кисель пойдет – какая она будет война?.. Надо, значит, идти – вот и весь сказ, такая моя командирская зарука... А сейчас комиссар говорить будет.

Чапаев отошел от ограждения.

– Давай теперь ты, Петька, – громко велел он.

Я подошел к ограждению.

Было тяжело смотреть на этих людей и представлять себе мрачные маршруты их судеб. Они были обмануты с детства, и, в сущности, для них ничего не изменилось из-за того, что теперь их обманывали по-другому, но топорность, издевательская примитивность этих обманов – и старых, и новых – поистине была бесчеловечна. Чувства и мысли стоящих на площади были так же уродливы, как надетое на них тряпье, и даже умирать они уходили, провожаемые глупой клоунадой случайных людей. Но, подумал я, разве дело со мной обстоит иначе? Если я точно так же не понимаю – или, что еще хуже, думаю, что понимаю – природу управляющих моей жизнью сил, то чем я лучше пьяного пролетария, которого отправляют помирать за слово «интернационал»? Тем, что я читал Гоголя, Гегеля и еще какого-нибудь Герцена? Смешно подумать.

Однако надо было что-то сказать.

– Товарищи рабочие! – крикнул я. – Ваш комиссар товарищ Фурманов попросил меня быть покороче, потому что сейчас уже начнется посадка. Я думаю, что у нас еще будет время для бесед, а сейчас скажу вам только о том, что переполняет огнем все мое сердце. Сегодня, товарищи, я видел Ленина! Ура!

Над площадью разнеслось протяжное гудение. Когда шум стих, я сказал:

– А сейчас, товарищи, с последним напутствием выступит товарищ Фурманов!

Фурманов благодарно кивнул мне и шагнул к ограждению. Чапаев, посмеиваясь и крутя усы, о чем-то говорил с военным в бобровой шубе. Увидев, что я подхожу, он хлопнул военного по плечу, кивнул остальным и пошел вниз с трибуны. Заговорил Фурманов:

– Товарищи! Остались нам здесь минуты. Пробьют последние звонки, и мы отплывем к мраморному, могучему берегу – скале, на которой и завоюем свою твердыню...

Говорил он уже не заикаясь, а плавно и певуче.

Мы прошли сквозь расступившуюся шеренгу рабочих (я чуть было не потерял своего сочувствия к ним, увидев их вблизи) и направились к вокзалу. Чапаев шел быстро, и я с трудом успевал за ним. Иногда, отвечая на чье-нибудь приветствие, он коротко скидывал желтую крагу к папахе. На всякий случай я стал копировать этот жест и вскоре освоил его так хорошо, что даже ощутил себя своим среди всех этих сновавших по вокзалу недосверх-человеков.

Дойдя до края платформы, мы спрыгнули на мерзлую землю. Дальше начинался лабиринт заснеженных вагонов на маневровых путях. Со всех сторон на нас смотрели усталые люди; проступавшая на их лицах однообразная гримаса отчаяния объединяла их в какую-то новую расу. Я вспомнил одно из стихотворений Соловьева и рассмеялся.

– Что это вы? – спросил Чапаев.

– Так, – сказал я. – Понял, что такое панмонголизм.

– И что же это?

– Это такое учение, – сказал я, – которое было очень популярно в Польше во времена Чингиз-хана.

– Вот как, – сказал Чапаев. – Какие вы интересные знаете слова.

– О, до вас в этой области мне далеко. Кстати, не объясните ли вы, что такое зарука?

– Как? – наморщился Чапаев.

– Зарука, – повторил я.

– Где это вы услышали?

– Если я не ошибаюсь, вы сами только что говорили с трибуны о своей командирской заруке.

– А, – улыбнулся Чапаев, – вот вы о чем. Знаете, Петр, когда приходится говорить с массой, совершенно неважно, понимаешь ли сам произносимые слова. Важно, чтобы их понимали другие. Нужно просто отразить ожидания толпы. Некоторые достигают этого, изучая

язык, на котором говорит масса, а я предпочитаю действовать напрямую. Так что если вы хотите узнать, что такое «зарука», вам надо спрашивать не у меня, а у тех, кто стоит сейчас на площади.

Мне показалось, что я понимаю, о чем он говорит. Уже давно я пришел к очень близким выводам, только они касались разговоров об искусстве, всегда угнетавших меня своим однообразием и бесцельностью. Будучи вынужден по роду своих занятий встречаться со множеством тяжелых идиотов из литературных кругов, я развил в себе способность участвовать в их беседах, не особо вдумываясь в то, о чем идет речь, но свободно жонглируя нелепыми словами вроде «реализма», «теургии» или даже «теософического кокса». В терминологии Чапаева это означало изучить язык, на котором говорит масса. А сам он, как я понял, даже не утруждал себя знанием слов, которые произносил. Было, правда, неясно, как он этого достигает. Может быть, впадая в подобие транса, он улавливал эманации чужого ожидания и каким-то образом сплетал из них понятный толпе узор.

Остаток дороги мы молчали. Чапаев уводил меня все дальше; два или три раза мы подныривали под пустые мертвые поезда. Было тихо, только издали порой доносились исступленные зовы паровозов. Наконец мы остановились возле поезда, один из вагонов которого был бронированным. Над крышей этого вагона уютно дымила труба, а у двери стоял на часах внушительный большевик с дубленным азиатским лицом – почему-то я сразу окрестил его про себя башкиром.

Пройдя мимо козырнувшего башкира, мы поднялись в вагон и оказались в коротком коридоре. Чапаев кивнул на одну из дверей.

– Это ваше купе, – сказал он и вынул из кармана часы. – С вашего позволения, я на некоторое время вас покину – мне нужно отдать несколько распоряжений. К нам должны прицепить паровоз и вагоны с ткачами.

– Мне не понравился их комиссар, – сказал я, – этот Фурманов. В будущем мы можем не сработаться.

– Не забивайте себе голову тем, что не имеет отношения к настоящему, – сказал Чапаев. – В будущее, о котором вы говорите, надо еще суметь попасть. Быть может, вы попадете в такое будущее, где никакого Фурманова не будет. А может быть, вы попадете в такое будущее, где не будет вас.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.